

В День шахтёра в Инте били таксистов. Это была старая, привычная забава. Им припоминали всё за истекший год: и несданную с рубля сдачу, и маршруты в объезд, потому что «там ремонт», и тройные тарифы новогодней ночи. Но главное, им припоминали водку, ту, которой таксисты торговали круглый год, водку-самокатку, водку-палёнку, водку по тройной цене, какую даже на пьяном углу никто не ломил, опасаясь, что шахтёры, не найдя на троих, от жажды спалят весь квартал.

Таксистов вылавливали у вокзала, где они, подняв стёкла и не выключив двигатели, ёжились от страха, но ждали пассажиров с пассажирского Котлас – Воркута. Те, кто сидел в машинах, ещё успевали дать по газам, не обращая внимания на колдобины и ямы в асфальте, цепляя днищем об их острые края с жестяным скрежетом и отчаянно давя на гудок. Но тех, кто беспечно или, хуже того, в надежде на пруху оставляли таксомотор на площади, а сами шли на перрон поближе к прицепным ленинградским вагонам, где пассажир пожирнее, потому и навар с такого гуще, тех били сладостно.

Их забирали с перрона, клали ладони на плечи и с обеих сторон сжимали мускулистыми пальцами засунутые в карманы руки. Их вели за зда-

6

ние вокзала, на заплёванный пяточок в зарослях каких-то кустов, и там молча проводили краткую красивую расправу, лупя по шее, отрывая рукава у кожаных курток и ворота крепкой фланели клетчатых пакистанских рубаш. Что говорить-то? И так всё понятно. Понятно за что, понятно почему. Напоследок таксист получал по носу и потом, отплёвываясь, сморкаясь кровью и сопя, долго топтался на небольшом пяточке в запахе мочи, собирая выпавшую из карманов мелочь, ключи и ломаные сигареты. Зачастую таксисты сами были бывшими шахтёрами, вышедшими на пенсию или ушедшими с шахты по состоянию здоровья. Потому всё понимали. И прощали. И зла на своих не таили. Об одном лишь они сожалели, что пока они приводили себя в порядок и шарили среди мусора в поисках ключей от машины, по перрону, шаркая, прошли с тяжёлыми чемоданами пассажиры прицепных ленинградских вагонов поезда Котлас – Воркута. Пассажиры прошли по перрону, скрылись в здании вокзала, появились из здания вокзала уже со стороны площади и сели в подошедший автобус.

1

Андрей попал в Инту в конце восьмидесятых и остался теперь уже, как думал сам, навечно.

Северное небо врачевало, как врачевало до того сотни других несчастных. Оно буднично собирало молитвы, запечатывало в шершавые наощупь конверты из крафтовой бумаги и отправляло дальше, туда, где если и жил адресат, то никак не проявлял своё существо.

На зоне он провёл только год, потом был переведён в колонию-поселение, в которой по попущительству времени, потерявшему власть над людьми, жил вовсе уже вольно.

Наслушавшись рассказов «бывалых», начитавшись ещё за время службы статей в «Огоньке», ждал он от заключения лютого человеческого бесстыдства. И когда на этапе попал под горячую руку мальчишек-конвойных, получается, что всего-то на полтора года младше его призывом, и лежал в проходе, в луже собственной мочи из лопнувшего полиэтиленового пакета, прижав локти к животу и вжав голову в плечи, пока били пахнувшей гуталином кирзой, думал, что это только начало, и был готов смириться и уйти в такую глубину своей души, куда не долетают даже звуки орущих за сопками гусей. Но на зоне ему, против всех ожиданий, показалось спокойно и как-то справедливо. Эта почти математическая модель мироустройства, когда от каждого поступка протянута ниточка к последствию. И ниточки те видны, и морозным утром они блестят от инея, и на них, как на провода, может сесть малая таёжная пичуга, чтобы чирикнуть что-то напоследок, перед тем как вовсе пропасть.

Бог милостив. Не подцепил он в колонии никакой лагерной бактерии, никакой болячки на душу, никакой подлости не совершил и по отношению к себе подлости не запомнил. Только когда уже выписали ему подорожные и шёл Андрей на станцию, чтобы взять билет до Пскова, лопнул внутри него маленький кулёчек со слезами. Шёл, наступая на тонкие прутки карликовой берёзки и прошлогодние метёлки иван-чая, напрямик по насыпи старой узкоколейки, проложенной от одного заброшенного лагеря до другого и пятый десяток лет после того дышащей в тундру разогретым дёгтем. Шёл и плакал. Должно было распырять его от лёгкости и счастья долгожданной свободы, а нет, кололо и мешало дышать шершавое и неуютное нечто под подкладкой куртки. И в том неуютном и маятном копилась не то самая жестокая казнь, не то будущая сила. За два часа дороги сказал он себе то, о чём последний год всё чаще думал и на что никак не мог решиться. А перевалив через водораздел, посмо-

трев сверху на размаранный между сопок белёсый плевок крыш Харпа, вместо станции спросил дорогу в здешнюю геологическую контору и договорился на сезон рабочим. И когда договаривался, уже знал, что сезоном дело не ограничится. Похоже, что придумывал он себе тогда новую жизнь, да и придумал.

После четырёх месяцев работы «на камнях», как тут называли добычу поделочного камня для ювелирного и кустарного производства, Андрей получил щедрый расчёт. Послушав других бичей, прыгнул в еле колготящийся мимо сопок дизель-подкидывш и отправился на сто десятый километр, откуда стартовали вездеходы, забрасывавшие буровиков в лесотундру, в долину Макару-Рузь, надеялся уговорить начальника отряда взять рабочим на буровую. Но все буровые расчёты оказались укомплектованными даже сверх штата. Бичи, те, кто порезвее да поопытнее, успели столкнуться ещё весной. По всему Полярному Уралу в этом году партий на зимник отправлялось мало, а лимит на буровые работы срезали ещё год назад, когда Андрей был «на химии». Бурили только на алмазы, но на алмазы сидельцев вроде как не брали. Многие подумывали о том, чтобы переплыть Обь и «заброситься» с Салехарда с местными партиями по востоку Сибири и на Ямал. Рассказывали, что тамошнее управление получило квоту на сгущение сети и привлекает рабочую силу со всего Союза. Андрею идея не нравилась. Решил он всё же попытать счастья в Кожыме, небольшом рабочем посёлке на участке дороги от Сейды до Котласа, возникшем, как и многие другие, на месте бывшего лагеря. Там, в Кожыме, располагалась база ВоГЭ, Воркутинской горной экспедиции, самой богатой и влиятельной конторы на всей этой огромной территории от Печоры и до Воркуты, от Усы и до Лабытнанг. Рассказывали, что раньше в Кожыме добывали кварц для отечественной электронной промышленности, но теперь промышленность пришла в упадок, а вместе с ней и посёлок.

Андрей переночевал в котельной, куда его устроили случайные знакомцы, и на следующий день, не дожидаясь котласского, сел в дизель Лабытнанги – Сейда, полный такого же, как и он, кочевого народа, перемещающегося по кромке полярного круга в поисках где бы чего заработать. В том поезде и поджидал его великий северный фарт. Чудом ли, Господним ли провидением, но оказался он в одном вагоне с

самим начальником ВоГЭ, Егором Филипповичем Теребянко, возвращавшимся из инспекционной поездки по дальним отрядам, работавшим на западных склонах хребта Рай-Из.

Не случилось на северах человека более известного и уважаемого, нежели Теребянко. В ту пору ему только исполнилось тридцать шесть, но по хваткости, крутости нрава, а главное, по вдохновляемому постоянным трудом научному таланту походил он не на ровесников или коллег из других управлений, а скорее на легендарных покорителей Севера, именами которых названы улицы в городах вдоль полярного круга. Да и сам он любил повторять на собраниях коронную фразу-девиз: «Для Севера нужен человек, умноженный на два, и чтобы всё остальное, кроме работы, торчало за скобками. Или так, или берите расчёт и отправляйтесь в Крым сажать патиссоны». Эти патиссоны в Крыму появлялись в его речи то и дело и служили символом никчёмной жизни никчёмного человека. Сама максима среди народа сжалась до лаконичного: «Или умножайся, или патиссоны сажай».

«Вы там про борт ничего не слышали? Нам перебрасываться надо. Третий день сидим, патиссоны сажаем, как тут умножишься», – скрежетало в рации, висевшей на столбе в балке начальника отряда на горе Чёрной, где колол камень Андрей в своё первое вольное лето.

Андрей никогда раньше Егора не видел, но едва состав заскрежетал тормозами на станции Полярный, следующей за Сто десятым километром, в вагоне зашептались: «Теребянко!», «Мужики, Теребянко к нам грузится».

А когда по проходу пошёл высокий, светлоглазый и светловолосый человек, не по-северному гладко выбритый, с аккуратно постриженными висками, в выгоревшей до белого цвета куртке-энцефалитке с шевроном Мингео СССР, называемом в народе поплавком, к нему потянулись со всех купе.

– Здравствуйте, Егор Филиппович!  
– Наше почтение, начальник.  
– Товарищу Теребянко привет, милости просим к нам.

Приглашали все. Теребянко протянутые руки не пожимал, кивал сухо, иногда ронял «здоровствуйте» и бұхал по проходу закатанными «под манжет» болотными сапогами, отыскивая купе посвободней.

Андрей ехал один. Он сидел у прохода, где гулял ветерок, и читал книжку, обёрнутую в газе-

ту, прислонившись к блестящей штанге для ступеньки.

– Не помешаю? – Теребянко, не дожидаясь ответа, снял с плеча звякнувший чем-то металлическим рюкзак и положил на верхнюю полку.

– Да, пожалуйста, – Андрей потянулся и представил на свою часть стола открытую банку «Завтрак туриста» и бутылку лимонада «Дюшес».

Теребянко покосился на банку, на лимонад, потом перевёл взгляд на Андрея, потом на книжку, протянул руку и поманил пальцем. Андрей отдал книгу.

– Ричард Диксон? «Пособие по английскому языку для начинающих»?

– Ез ыт ыз, – угрюмо ответил Андрей.

– Сидел?

– Год на зоне и два химии.

– Статья?

– Сто шестая. Убийство по неосторожности. Условно досрочное.

– Дорожно-транспортное? – Теребянко сощурился.

Андрей кивнул.

– Образование?

– Среднее техническое.

– Специальность?

– Механизатор-тракторист, – чётко выговорил Андрей и добавил: – Четвёртый разряд.

– Сейчас куда?

– Отработал лето на Рай-Изе, теперь домой, к родителям, в Псковскую область, – зачем-то соврал Андрей. Он вдруг застеснялся своей неустроенности и того, что нет работы.

– Могу предложить ко мне помбуром на зимний сезон. У меня некомплект. Пойдёшь?

– Я на буровой не работал, думал, если устраиваться, разве что рабочим.

– Разберёшься, если механизатор. Идёшь?

– Иду, – улыбнулся Андрей.

– Ну и молодец! – Теребянко рассмеялся и протянул ладонь: – Егор, начальник здешней экспедиции.

С лёгкой руки начальника все стали называть Андрея Англичанином. Прозвище прилипло так крепко, что даже в табеле, в который тот сунул нос, чтобы посмотреть, сколько ему полагается отгулов, не смог найти своей фамилии и лишь потом в самом верху увидел: «Англичанин».

Проработал Андрей у Теребянко три сезона подряд, почти не вылезая из тайги. В общежитие для сезонников не устраивался. В короткие про-

межутки между вахтами жил в Интинской гостинице со случайными людьми в номере на четыре человека, по два раза в день балуя себя раскалённым душем. Почти всё, что зарабатывал, отправлял родителям почтовым переводом. Оставлял себе по пятнадцать рублей в месяц, что хватало как раз на гостиницу да на сигареты. Выпивку Андрей не жаловал, потому на вахтах не страдал, а в промежутках не экономил. Ходил в экспедиционном облачении – энцефалитке с чужого плеча, ладных рабочих брюках джинсового покроя из палаточной ткани и туристических ботинках, из которых торчали полосатые гетры. Зимой добавлялись ватник-бушлат с воротником искусственного сизого меха и вязаная шапочка с козырьком, которую здесь почему-то называли «шлема», с ударением на последний слог.

Осенью следующего года, в конце сезона, когда начался массовый исход ленинградских и сыктывкарских партий геофизиков, Теребянко поймал Андрея на вертолётной площадке в Кожиме, где тот помогал выгружать ящики с керном из пузатого, воняющего горелым керосином Ми-8.

– На вахту не намыливайся. Этот сезон пропустишь вчистую. Сейчас собирай манатки и рысью на дизель до Инты, я договорился, тебя берут в тамошнее училище при комбинате. Документы твои уже прислали. Часть предметов зачтут плюс дадут общагу, стипендию. Весной выпустишься, оформлю тебя в ВоГЭ в постоянный штат буровым мастером по пятому разряду.

– Так, а как же ребята без помбура?

– Не твоего ума дело.

Андрей замаялся, вспомнив, что денег у него совсем не осталось, позарился давеча в универмаге на транзистор.

– Может быть, ещё одну вахту? Я все деньги домой отослал, и вот, – Андрей показал на «Альпинист», висящий на ремне. – Не удержался, купил себе музыку.

– Не обсуждается. У меня бичей хватает, мне специалисты нужны. Ерундой заниматься да музыку слушать всякий мечтает.

«Для этого на Севере делать нечего, езжай поливать патиссоны в Крым», – мысленно продолжил Андрей за Теребянко.

– Север такого не терпит, для этого вон – Крым. Хочешь бездельничать, езжай патиссоны поливать. Понял?

– Так точно, – по-военному ответил Андрей.

– Давай, Англичанин, успехов тебе, – Теребянко стукнул его легонько кулаком в грудь и ши-

роко зашагал в сторону балков, где жили ожидавшие заброску на грядку шурфовики. Он прошёл по деревянным мосткам через ржавую грязь, изборождённую вездеходами до края вертолётки, повернулся и крикнул:

– Зайди в бухгалтерию, скажи, что я просил тебе матпомощь на сорок рублей выписать.

– Не поверят, – прокричал в ответ Андрей.

Но Теребянко уже не слышал, борт завёл двигатель, и шум винтов разметал слова по тундре.

## 2

Секретарша, принимавшая от Андрея анкету, которую тот заполнил аккуратным мелким почерком, таким же, как у отца (он усиленно копировал этот почерк ещё в школе), покачала головой:

– Если бы не Егор Филиппович, тебя бы не взяли. У нас ясное указание – с судимостью не брать. Мы подобный контингент стараемся спровадить с Севера, а вам здесь словно повидлой намазано. Готовы прямо у ограды лагеря поселиться. Это зачем? Чтобы время на дорогу потом не тратить, когда опять подсесть решите?

Андрей молчал.

– Или ты какой особенный, что сам Теребянко хлопочет? Родители, поди, важные? Из партийных секретарей? Номенклатура?

– Нет. Обычные родители.

– Отец – механизатор, мать – служащая, – прочитала секретарь в анкете. – Что значит «служащая»? Где служит? Кем?

– В совхозном правлении, экономистом. Это важно?

– Всё важно, когда абитуриент с судимостью. Борис Борисыч говорит...

Но что говорит Борис Борисович по этому поводу, Андрей уже не узнал. Дверь приёмной отворилась, и вошёл он сам, плотный, начинающий некрасиво лысеть чернявый мужчина в сером немодном костюме.

Он бросил взгляд на Андрея и заулыбался:

– Краснов?

Андрей кивнул и встал.

– Прекрасно! Раечка, – он осёкся, – Раиса Евгеньевна, выписывайте Краснову талон на поселение в общежитие и сами позвоните Семёну, чтобы не дурил и не совал парня на первый этаж, пока трубы не починит. Скажите, что я лично проверю, это теребянковский кадр.

И уже опять обращаясь к Андрею:

– Как там тебя зовут? Аргентинец?

– Англичанин, – выдавил Андрей неожиданно склеенным голосом.

– Что за прозвище такое? В Англии был?

– Собираюсь, – Андрей прокашлялся. – Если пригласят.

– Ну ладно. Экзамен по иностранному языку сдашь, может, и пригласят, – директор хохотнул, – по обмену опытом. Ну, будь здоров! И да, вот ещё. В комнатах чтобы не курили там! Спалите общежитие, нам новое строить не на что.

В училище Андрей оказался самым старшим на курсе. Учебный год месяц как начался, и первокурсники успели друг с другом перезнакомиться. Многие и без того были знакомы, ходили в одну школу и жили по соседству. О его судимости, как и о том, что за него хлопотал сам Теребянко, прознали быстро. Сперва сторонились как чужого, старшего и «с биографией», приглядывались, не станет ли буреть. Но Андрей держался с достоинством, на рожон не лез. Тогда местная шпана попыталась ради самоутверждения позадирать новичка, Андрей не реагировал. Лишь однажды поймал в узком коридоре возле столовой за локоть самого рьяного, сжал так, что у того слёзы на глазах выступили, и тихо, уверенно произнёс: «Хватит». От него отстали.

Учился Андрей, как он сам это называл, «между этажами». Посещал какие-то уроки с первого, какие-то со второго курса, а всё равно оказывалось, что возникает, откуда ни возьмись, свободное время, когда ни на одном, ни на другом курсе нет предметов, которые ему поставили в индивидуальный план. В такие дни шёл Андрей в библиотеку училища, брал книжки по истории или журналы «Наука и религия» и проводил целый день за столом, пока библиотечарша не начинала греметь ключами и щёлкать выключателями.

Библиотека занимала сдвоенный класс на первом этаже и тут, как и в общежитии, почти не топили. Горячая вода из котельной подавалась сначала на чердак, а только потом разливалась по ржавым, забитым окалиной трубам вниз по классам и мастерским. Библиотечарша сидела за своим столом в закутке, огороженном стеллажами, в куртке и пуховом платке. Против всех норм пожарной безопасности по несколько раз на дню на тумбочке бурлил кипятильник, опущенный в литровую банку. Библиотечарша заливала кипятком в резиновую грелку, заворачивала её в вафельное полотенце и так согревалась.

То и дело он чувствовал на себе её щекотное внимание, но поймать его не удавалось. Девуш-

ка успевала отвести взгляд за вздох до того, как поднимал голову он. Андрей вроде бы не нарочно (или он только не признавался себе), но садился так, чтобы она могла его видеть или он её. Хотя разглядеть-разобрать что-то из-за очков в широкой оправе, пухового платка было сложно, почти невозможно. Казалось, что библиотечарша прячется. Но он видел кисть её руки с пальцами-веточками, запястье в веснушках, слышал голос, такой, как у одной актрисы в телевизоре, не то хрипловатый, не то мягкий. Такой голос, что хочется кино то досмотреть до титров в самом конце. И уже не важно, что голос произносит лишь формулу-заклятие: «Заполните формуляр», совсем неважно.

Что до неё, то ей казался интересным этот долговязый, островатый взглядом и жестом парень или вовсе и не парень, а молодой мужчина. «Мужчина с биографией», как тут говорили.

Только стало известно, что в училище появился бывший зек, она никак не могла представить, что увидит его у себя в библиотеке, куда и обычные ученики заходили исключительно за учебными пособиями да, может быть, за детективными романами, вырванными и переплетёнными из «Иностранки». А этот выбирал книги тщательно, словно бы учился по некоей сложной программе, какая подходила бы скорее столичному университету, а никак не скромному ПТУ шахтёрского городка. Читал, сидя за столом, закладок не делал, но всякий раз (она замечала это) перед тем, как закрыть книгу, записывал в блокнотик номер страницы, на которой остановился.

Андрей делил комнату с тремя ребятами со станции Сыня. Это был небольшой посёлок, застрявший между сопок южнее Кожыма, но севернее Печоры. Посёлок образовался, как и многие подобные на северах, на месте железнодорожного узелочка, зачатого одновременно с управлением пятисот первой магистрали в системе ГУЛАГа. От Сыни отходила однопутная линия на Усинск. Потом в отдельных бараках тут же поселились конвойные, охранявшие здешние лагеря, и железнодорожники, обслуживающие участок уже построенной трассы от Печоры до Инты. Со временем большинство лагерей закрылось, а бараки по досочкам и кирпичикам растащили жители для собственного строительства кособоких сараев, толпящихся почти у каждого дома. В посёлке жили отставники, те, кто после службы

по разным причинам не захотел уезжать на материк, их дети и даже уже внуки. К внукам как раз и относились соседи Андрея по комнате.

Почти все на северах так или иначе кормятся либо с зон, либо с лесосплава, либо с железной дороги. Уголь южнее Инты не добывают, потому что шахт жили от Инты и до Воркуты, да и то, пока те не стали массово закрываться. Все ребята выросли в одном дворе, учились в одном классе, а их отцы гоняли молевой сплав Ижемского лесопромхоза по Усе и Печоре от начинавшего то и дело присаживаться на стариковские колени бывшего всеильного Печорлесосплава. Лес, ещё несобранный в плоты, шёл по Усе до впадения в Печору. Там его уже вязали и гнали дальше аж до Архангельской области, где в Нарьян-Маре сползал с берега в пенную воду экспортный завод. От Сыни до Усинска тошнил дизельный рабочий поезд, на котором вначале отцы, а во время летних каникул и пацаны ездили на смены. Работа эта считалась почётной, денежной. Но который год ходили слухи, что сплав скоро запретят, а весь лес станут вывозить железной дорогой. Да и самого леса с закрытием большого количества зон становилось всё меньше. Раньше вырубки происходили планомерно, теперь всё более хаотично. Что-то трескалось, хрустело по дальним станциям, что-то неуправляемое происходило со всем Севером, а то и с целой страной. Увидеть и понять что, со склонов Уральских гор не получалось, но общее ощущение тревоги и перемен, которые для этих редко посещаемых Господом мест особо мучительны, передавалось от посёлка к посёлку.

Отцы ребят покумекали, обмозговали меж собой, посоветовались с соседями и, отвесив отпрыскам звонких подзатыльников, отправили учиться на буровиков в Инту – «чтобы всё нормально было». Они и стали единственными друзьями Андрея. Иначе и быть не могло, если живёшь в одной комнате и кипятишь один запрещённый электрический чайник на четверых.

Разница с ребятами в годах сказывалась. Андрей ощущал ответственность за «пионеров», так он их называл. Пионеры, по их понятиям и чувству вожака, старались старшему товарищу угождать, учитывая возраст того и отсидку, но Андрей заискивания сразу пресёк и был им пусть командир и старший товарищ, но так, словно выпало им одно сражение на всех. Мальчишкам предстояло учиться два года, тогда как Андрею (по индивидуальному плану) в мае назначили

выпускные экзамены. Приглядевшись к ребятам (а показались они ему хоть и отчаянными матершинниками и дуралеями, но никак не бездельниками), решил Андрей, что на следующий год сможет убедить Теребянко тоже взять их в ВоГЭ.

Индивидуальному плану Андрея многие завидовали. Шутка ли сказать, бывший урка, а учиться как министр, даже на общественное образование не ходит. Весной, перед самыми экзаменами, обязали Андрея ответить у доски на вопросы по апрельскому пленуму партии. Но это было единственное исключение. Все контрольные писал Андрей на пятёрки, так легко, словно было это для него делом привычным. Впрочем, не велика и наука тут преподавалась. Ничего сложного не было ни в тампонажных материалах, ни в организации устья скважин, ни в технологии бурения. Многое он уже постиг на собственном опыте за те три сезона, что работал на гряде.

В первый же день, ещё в Кожыме, буровой мастер Максим Фёдорович Алимов, в бригаду которого Теребянко зачислил Андрея, критически оглядел новичка, хмыкнул и достал из выючника потрёпанную книжку без обложки семьдесят шестого года издания «Бурение скважин с целью разведки и поиска полезных ископаемых».

– Изучай, Англичанин. Послезавтра буду гонять по всему материалу. Посмотрим, что за кадр мне Егор подсунил.

Весь вечер и всю ночь просидел Андрей за книжкой в вагончике-балке, где его поселили, жёг электричество настольной лампы, читал и время от времени вставал, чтобы подкинуть в печку дров. Октябрь случился холодный, с морозными яркими утрениками. Бичи, соседи по балку, проснулись рано, разворчались, что Андрей всю ночь не давал нормально спать своим светом и шелестом страниц, но ворчали беззлобно: это же как приятно встать, когда в балке натоплено. Сходили на завтрак в столовую рудника, вернулись. Бичи засели играть в буру, а Андрей вновь уткнулся в книгу.

– Эй, профессор, глаза попортишь, ты лучше нюхай страницы или лижи их, больше проку будет, – отпускал кто-то шутку.

– Лучше, конечно, пожевать, но тогда тебя Алимов уконтрапупит, – вторили первому шутнику, но Андрей не обращал внимания. К вечеру он дошёл до последнего параграфа и принялся читать по новой.

– Чувствую, сегодня тоже не достанет нам покоя, – рассмеялся краснолицый, сухощавый,

лет сорока три работчий Сергей Сергеевич, по прозвищу Трилобит, старый теребьянковский кадр. – Молодец, Анличанин, Максим таких любит, упорных. Давай грызи науку, я бы и сам чего такое полистал, да после первых строчек засыпаю. Ничего с собой поделать не могу, потому вся моя работа – это поднимай, тащи да картами шлёпай. А ты далеко пойдёшь.

По второму разу учебник Андрей проглядел за пару часов. Все уже спали, когда он отложил книгу на стол, накинул на плечи бушлат, взял пачку «Астры» и вышел из балка.

Нигде небо так крепко не прилипает к горизонту, как на Севере. И только здесь оно, расцвеченное зеленоватыми сполохами сияния, спекается за долгий полярный день в одно целое с тундрой. Пойдёшь далеко-далеко в осеннюю тундру, если повезёт – дойдёшь до Большой Медведицы, а оттуда и до Оби рукой подать. Чиркнула по небу падающая звезда, и Андрей, стесняясь своего порыва, загадал, чтобы всё было хорошо. Что имел в виду, спроси его, наверное, и сказать бы не смог, но ощущение правильности происходящего, знание пути – это чудесная смесь звериного чутья, нутряного голоса и шёпота всех неназванных духов места.

После завтрака Андрей поторопился к персональному балку Алимова. Тот встретил его на ступеньках приставной лестницы. Сидел в распахнутом бушлате, курил и грелся на осеннем солнце.

– Готов?

– Готов, – улыбнулся Андрей и протянул мастеру книгу.

– Ну пошли тогда.

Они встали и по пружинящим деревянным мосткам словно затанцевали в сторону реки, где, сшитые стальными скобами, жухли на солнце берёзовые брёвна вертолётной площадки. Возле площадки громоздились разномастные трофеи бурового скарба. Рядом стояли тягачи и передвижные буровые установки на полозьях с мачтами в походном положении.

– Это что? – Алимов указал рукой на один из прицепов.

– Эм-эр пять а, – уверенно отрапортовал Андрей.

Мастер посмотрел на него пристально и покачал головой,

– Надо было просто сказать «буровая установка», но так, конечно, правильно. Хорошо.

А, скажем, это что такое? – Алимов пнул носком ботинка ржавую трубу.

– Обсадная, – с достоинством ответил Андрей, подошёл ближе и добавил: – Для колонкового бурения, на замке.

– На замке... – повторил мастер задумчиво и вдруг резко, словно вёл допрос: – Диаметр инструмента при забурировании?

– Сто двенадцать миллиметров.

– Длина направляющей обсадной?

– Шесть, реже четыре метра.

– От чего зависит?

– От разрушаемости верхних пород.

– Диаметр скважины при бурении алмазной коронкой?

Андрей замаялся, мучительно вспоминая. Почему-то эти числа показались ему важными, и он постарался их запомнить.

– Ладно, не старайся. Вижу, что прочитал, – Алимов достал из мятой пачки сигарету «Космос» и чиркнул зажигалкой, выдавшей копящий язык пламени.

– Пятьдесят девять миллиметров, – выпалил Андрей, и губы его растянулись в счастливой улыбке.

– Да ты уникам, – присвистнул мастер. – Я это, наверное, только через год работы запомнил, всё в справочник подглядывал.

Алимов подошёл ближе и протянул Андрею сигареты, тот взял одну, поблагодарил, прикурил от той же бензиновой коптилки.

– Ладно, Анличанин, похоже, сработаемся. Но у меня закон такой – пока план по метражу не выполнили, вахта домой не возвращается. И никаких вариантов, только санборт, если аппендицит. С большими зубами тоже сидят на вышке, плачут, но работают. Идёт?

– Идёт, – улыбнулся Андрей.

– И ещё: чтобы одеколон не пить! Унюхаю – оштрафую на полевые. Понятно?

Андрей хотел сказать, что он вообще непьющий, но вместо этого опять просто улыбнулся.

### 3

Бурили по всей гряде. Казалось, что точки, на которые их забрасывали и где они начинали монтировать установки, никак не связаны, но Андрей видел, что есть во всём этом строгая (только лишь на первый, непосвящённый взгляд – неведомая) система, согласующаяся с геологической картой и той наукой, что правили здесь ленинградские и сыктывкарские геофизики.

Любопытства ради он засматривался из-за плеча Максима Фёдоровича в карту, которую раскладывал на столе в вагончике геолог Дейнега, приписанный к тому же отряду, что и их буровой расчёт. Видел изогнутые синие линии с цифрами, а в крест им параллельные линии с номерами скважин. Те, которые уже были отработаны, Дейнега обводил красной тушью и писал рядом какие-то одному ему понятные значения. Дейнега числился у Теребянко по договору с ВоГЭ, состоял в штате Сыктывкарского института геологии, где и получал официальную зарплату и полевые. Среди полевых имел кличку Тёзка из-за того, что звали его, как и начальника, Егором.

Оказались они с Егором ровесниками, оба июльские, потому быстро сдружились. Балагур и хохотун Дейнега легко сходился с людьми, легко приятельствовал, так же легко командовал. На второй точке, куда перебросил их в конце октября вертолёт, поселились поперёк субординации уже в одном балке. И вечерами Егор, отодвинув в стороны полевые журналы, пикетажки, карты, доставал из выючника пошарпанную шахматную доску и расставлял фигуры. Белой и чёрной ладьи не хватало. Вместо белой кто-то уже очень давно вырезал из подходящей по размеру чурочки неровный цилиндр с зазубринами бойниц на оголовке. А вместо чёрной ладьи стукала туда-сюда по клеткам пустая склянка от корвалола, тёмно-коричневого стекла, с голубой крышечкой.

Чаще выигрывал Егор, Андрей совсем редко, лишь тогда, когда Егор, что называется, «отпустил», задумавшись о чём-то своём, помимо шахмат. Но Андрею играть нравилось. Нравилась стройность и логичность пешечного гамбита, эпическая фатальность эндшпиля, когда, загнанный в угол, его король оставался один на один с конницей Дейнеги.

Когда не играли в шахматы, читали под шипенье качающейся волны из транзистора. В углу под нарами стоял коричневый выючник, набитый книгами и журналами, – полевая библиотека, которую Егор выпросил до весны у Фёдора, начальника пятьдесят второй партии. Выючник этот, как и огромная алюминиевая фляга, на тридцать литров, с аккуратным круглым отверстием в крышке, составляли главное богатство ленинградцев. Всякий раз, когда пятьдесят вторая грузилась по весне на борт, бортмеханик, наблюдающий за тем, чтобы не было перегруза, цокал языком и качал головой, показывая

явное одобрение хозяйственности и предусмотрительности ленинградцев. На Севере со спиртным всегда тяжело, так что собственная самогонная установка могла в случае чего привлечь оказию хитроватого негоцианта из интинского лётного отряда, готового сменять на трёхлитровую банку первача бочку с керосином для ламп или какую иную твёрдую валюту вечного северного натурального обмена: сахар, рыбу, лосятину, порох. На флягу многие, как тут говорилось, «делали стойку», но её геофизики увозили с собой каждую осень и хранили где-то чуть ли не в казематах Петропавловской крепости, тогда как библиотека зимовала на полевом складе вместе со старыми палатками и ржавыми чугунными печками.

– Зачем тебе это? Книги сделают тебя счастливым, – говорил Трилобит, когда заставлял Андрея с книжкой в руках. – Ладно, если за науку, но вот так себе душу рвать чужой болью.

Впрочем, Трилобит при внешней колючести оказался добрейшим человеком, вовсе даже и не бичом, а постоянным сотрудником на ставке рабочего-бурильщика шестого разряда. Семья Трилобита, жена и две взрослые дочери, жила в Воркуте, куда тот отбывал между вахтами, всякий раз тщательно выскоблив щёки и отгладив рубашку.

Мог Сергей Сергеич работать и за помбура, поскольку из года в год, из сезона в сезон наблюдал он одни и те же операции, случаясь всякий раз на подхвате. Его добродушный матерок поначалу сопровождал суету Андрея на буровой, пока тот не обвыкся. Одно дело – книжка, другое дело – настоящий запах горячего железа и солидола, визг лебёдки, лязг молотка о сталь и стон натянутого троса.

– Наголовник вначале, мать твою! А потом уже элеватор, – орал Трилобит, – не снимешь со свечи!

И Андрей, пачкаясь в смазке и глине, натываясь на всякое на нужном месте находящееся железо, сам, словно единственная лишняя среди этого порядка деталь, мало-помалу, но обретал собственный законный этому оркестру ритм, в какую-то особую долю согласующийся с ритмом работы людей и механизмов.

Когда же впервые самостоятельно, открепив патроны станка и подняв ведущую трубу до выхода из скважины бурильного замка, держащего всю бурильную колонну, заколотив наконец подкладную вилку и уже зафиксировав снаряд на



корпусе трубообразователя, Андрей вместе с Трилобитом отвинтил ведущую от колонны и аккуратно, нежно придерживая тяжёлое железо, отвлёл станок от устья, услышал он одобрительное карканье Алимova: «Шарит Англичанин».

И в каждом тяжёлом визге-скрежете трубообразователя, когда свечу за свечой поднимали на поверхность, мерещилось теперь Андрею это «шар-р-р-рит».

В училище практические свои умения привёл он в стройную систему. И лишь скрепив знаниями из методичек с картонными обложками и потрепаных учебников, полных подчёркиваний прошлых учеников, почувствовал себя в самом затворе, пусть в малой, но важной детали огромного механизма, крутящего само северное небо над цветной тундрой и чахлой тайгой.

На девятое мая, когда Андрей уже всю готовился к экзаменам, а кривляющаяся полярная весна ещё не определилась, пришла она или нет, хотя пэтэушная шпана уже ходила без шапок, заехал к нему в общежитие по дороге из Сыктывкара в Воркуту Дейнега. Привёз мало-солёного хариуса и полотняный мешочек сухёных подосиновиков.

– А я, брат, женился, – продемонстрировал Егор новенькое, ещё блестящее колечко на безымянном пальце, как только они нахлопались друг друга по плечам. – Красавица, сил моих нет. Тоже из Инты. В нашей лаборатории трудится.

Егор рассказывал про свадьбу, про молодую жену, про то, как они целый год присматривались друг к другу и впервые потанцевали только на институтский Новый год в Доме культуры, а Андрей, слушая и кивая, неожиданно, супротив своего привычного лада, вдруг ощутил одиночество. Захотелось ему обратно, в домик, крашенный синей краской, и чтобы была весна, чтобы аисты сидели на гнёздах, чтобы стучал вдалеке товарный состав, а в воздухе пахло медовым маем и мамиными блинами.

Свою личную жизнь, а вернее, планы на такую Андрей ни с кем не обсуждал, да и не было у него никаких планов. Промеж мужиков такие откровения были не приняты, а с пацанами и говорить не хотелось. Те, напротив, не особо стесняясь присутствия Андрея, полоскали на языках своих одноклассниц, оставленных за сотню километров отсюда, в Сыне. Они скабрезили, похохатывали, но писали письма, старательно выводя слова, и юношеская влюблённость трогательно окрашивала их уши.

Посещали его иной раз ночами фантазии, в которых виделась ему рядом с собой некая женщина, но никто конкретного представить он не мог. То фантом походил на его первую любовь Людку, то на проводницу Ларису из поезда Котлас – Воркута, то на фельдшерицу в лагерной санчасти, жену прапорщика Мирзоева. Который год жил он в каком-то особом мужском мире, куда женщины попадали по случайности или чьему-то (не то Господнему, не то мужнину) недогляду. Попадали парфюмерным облаком, оставшимся в длинном коридоре училища, окрашенным помадой окурком в пепельнице в комнате завхоза или хрипотцой голоса библиотекарши в телефонной трубке, когда он звонил из общежития, чтобы спросить, до которого часа открыто.

– А тут сестра жены, кстати, живёт, на углу Социалистической и Жданова. Один раз её видел, на свадьбе. Красивая. – Егор мечтательно поднял глаза к потолку и поцокал языком. – Такая вся тонкая, волосы вьются, чёрные-чёрные, но, словно прутики, жёсткие. Мы когда танцевали на свадьбе, они щеку мою щекотали. И голос какой-то потусторонний. Но я женат, а это освобождает меня от страданий. Знаешь, чем прекрасно, как оказалось, положение женатого человека?

Андрей пожал плечами.

– Никогда не догадаешься! Прекрасно оно тем, что все остальные женщины теперь для тебя только товарищи и предмет абстрактного искусства. И в том есть единственное, что хорошо сделал человек супротив Создателя. Человек освободил себе время на работу и совершенство мира. Некоторые, правда, используют его на пьянство и безделье, но тех Создатель отличает от остальных людей красным носом и огромным животом.

Егор сидел на кровати Андрея, прислонившись к стенке, и прихлёбывал из большой эмалированной кружки.

– Сейчас чайку выпьем и оставлю тебя наедине с твоими учебниками. Надо ещё к ней забежать, гостинцы передать. У меня целый мешок солонины и письмо. А через пару часов поезд, как раз только доехать до вокзала.

Андрею не хотелось расставаться с приятелем, и он предложил составить компанию. Они вышли из общаги. У дверей курили, щурясь на солнце и то и дело сплёвывая, с десятка парней в синих пэтэушных куртках. Привычный матерок отражался от глухой стены трансформаторной будки и возвращался обратно скабрезным эхом.

Хотя вдоль улиц ещё громоздились не успевшие почернеть сугробы, пахло в воздухе окончанием долгой зимы. Солнце светило как-то особенно лихо, ныряя в уголки глаз, уже не боясь, что загонят его прямо сейчас за горизонт. И в свете этого солнца далёкая водонапорная башня, сторожевой форт состарившейся в грехе тщеславия империи, казалась ярко-красной. Берёзы вдоль улицы Жданова уже не пушились морозом, а чиркали по небу сухой тушью.

По случаю праздника по дороге попадалось много отчаянно пьяных, много сильно поддатых. Пьянство здешнее такое же чёрное, как уголь, такое же злое, как долбёж пневмомолотка в очистном забое. Но в таких местах нет ему упрёка. Если не завалило, не сожгло изнутри угольной пылью, пей и не требуй себе иного счастья, как только и жить.

Мимо, стараясь никого не задавить в праздник, прокрался непривычно пустой Восьмой автобус, на котором ездили на смену. Дружинники, сердито трезвые, ходили по трое: к кинотеатру «Мир» со всех сторон стекались компании. Сегодня там устраивали концерт.

Они свернули и подошли к трёхэтажному дому. Дейнега сверился с запиской, посмотрел на список квартир в парадной и уверенно указал на среднюю:

– Сюда. Ты как, поднимаешься со мной?

Андрей уже было решил распрощаться и вернуться к учебникам, но то ли весенний ветер, то ли музыка, которая играла из репродукторскоколокольчиков на столбах, привели его в приподнятое настроение, и вдруг захотелось в гости.

Они поднялись на второй этаж. В подъезде ярко пахло щами. Егор позвонил.

За тонкой филенчатой дверью, приличной скорее какому-то учреждению, а не жилой квартире в городке у полярного круга, послышались шаги и стал различим звук снимаемой цепочки.

Дверь отворилась.

– Дарья, принимай гостей. Я к тебе с подарками и с товарищем. Телеграмму получила?

На пороге, без очков и вечного пухового платка, распахнув огромные изумлённые глаза, стояла библиотекаря.

#### 4

После выпускных экзаменов Андрей впервые за пять лет съездил домой. Дома его ждали. Устроили стол, позвали родственников, братьев с жёнами и детьми. Сестрёнка Лизавета приехала

из Ленинграда на каникулы с подружкой. И соседней набилось в дом тьма. Пришли сами, без приглашения, как принято у деревенских, если случается важное событие вроде свадьбы, поминок или возвращения издалека. Многие хотели посмотреть на Андрея. Про тюрьму разговор, однако, не заходил. Расспрашивали про работу его на Севере, громко хвалили за то, что получил новую профессию, вспоминали его и двоюродных братьев общее детство. Словно и вправду это были поминки, когда о покойном только хорошо. Но нет-нет да поглядывали соседи исподтишка на Андрея, ища подтверждение слухов, что ходили о Краснове-младшем по деревне.

За годы, проведённые Андреем на Севере, о случае том, как он ни надеялся, не забыли. Напротив, история обросла постыдными и лживыми подробностями. По дворам обсуждали беспробудное его, Андрея, пьянство после армии, чего, конечно, не было. Сожалели о Людке, которая, дескать, сделала аборт, потому что «подлец» не хотел жениться, что тоже, конечно, было чьей-то жестокой выдумкой. Да и вообще, промеж сельчан стало имя его нарицательным, символом наказанной разгульной беспутности. Теперь даже жизнь его и работа на невообразимо далёком Полярном Урале виделась деревенскими какой-то фартовой колымщиной, карикатурой на кино про гангстеров, с картёжными играми, драками на ножах и гульбищами в ресторанах. Андрей хорошо представлял себе, как эта дура Симагина, мать Людки и дочка бабы Шуры, работавшая у них почтальоншей, приносит письмо родителям, а потом обязательно сворачивает к магазину, где на пыльном, с горбылями старого асфальта, пятачке сортируются новости со всей деревни. И вот она стоит, поставив толстую дерматиновую сумку наземь, и, кивая головой в сторону дома Андрея, говорит что-нибудь вроде: «От уголовника давеча перевод был, а теперь письмо пришло. Пишет, грехи замаливает».

Людка, успевшая схоронить мужа-дальнбойщика, их общего одноклассника, вторично вышла замуж и переехала в Струги Красные, за железную дорогу. Замужество, как и прежде, бездетное, тем не менее казалось счастливым. Муж был сильно старше и заметно уверенней любого из местных пацанов. Людка ходила гордая, в заграничных шмотках, кожаном белом плаще. Мужа привозил шофёр. Он выходил из белого, в цвет плаща жены, «мерседеса», с круглыми, словно выпученными от удивления на россий-

ские дороги фарами, доставал с заднего сидения портфель, клал внутрь документы, которые, видимо, просматривал в дороге, клацал замком и захлопывал дверь. Андрей видел это, сидя за пластмассовым столиком в тени сирени, бурно разросшейся вдоль магазина по краям канавы.

Он не ревновал. Упаси Бог! Ему только было любопытно. Казалось, Андрей не мог вспомнить, как любил эту женщину. Не мог представить себе вновь того, что клокотало внутри, что сжимало и покалывало сердце. А ведь было что-то, что-то от пятого класса до выпускного, от проводов в армию до увольнения на трое суток, когда она приехала к нему в точно такое же, как их собственное, но белорусское село. И был лейтенант Тихонович, который отвёз его к ней на узишке. И была хозяйка дома, деликатно ушедшая по своим делам, и была тонкая ситцевая занавеска, в голубой цветочек, от печи до гвоздя в стене, и было лоскутное одеяло в ветхом, но пахнущем дымом и мылом пододеяльнике, и липкая горячая страсть, сотрясавшая и выгибавшая их неумелые тела.

После службы Андрей лишь одно лето провёл в Пятчино и уехал поступать в Псковский техникум на механизатора. Они вновь писали друг другу письма. И было в тех письмах меньше влюблённой истерики и больше уверенности, что ещё вот-вот и станут жить вместе, не расстанутся уже никогда, и если и не умрут, как принято в мечтаниях, в один день, то уж точно в один год, прожив долгую и радостную жизнь.

«Москвич» был первой машиной Андрея. Он вообще оказался первой машиной в семье. Отец, хотя и имел права всех категорий, ездил на советской технике, личного автотранспорта не приобретая. Этот же небесно-голубого цвета автомобиль Андрей купил в Пскове через автокомиссионку по объявлению, сразу после практики, когда, сам того не ожидая, заработал за лето огромные деньги. После оформления в ГАИ Андрей пригнал машину в гараж училища, где вместе с однокурсниками они перебрали двигатель, сменили кольца, сняли и промыли карбюратор, заменили трамблёр и свечи, переварили выхлопную трубу и только после этого отшлифовали и вновь покрасили кузов. Андрей тщательно вымыл яичным шампунем салон автомобиля, высушил феном и, переодевшись в новые гэдэзровские джинсы и рубашку, сел за руль и покатил в деревню, предвкушая близкий триумф среди соседей и знакомых. Мечтал он, что посадит Людку рядом и по-

едут они купаться на Хмёр, а может быть, даже махнут в Лугу, благо не так далеко.

И вот уже «москвич» стоит на лесной опушке, а в кассетном магнитофоне – Джо Дассен и *Et si tu n'existais pas*, которая запускается снова и снова. И только ради того, чтобы нажать кнопку, перемотать пленку и вновь включить песню, они отрывались друг от друга. И пока Андрей наклонялся над магнитофоном, Людка стояла рядом, не обронив ни слова, обхватив себя руками за предплечья, покачиваясь на носках своих кроссовок.

Они танцевали, нет, они осторожно переступали, оборачиваясь вокруг невидимой оси под звуки французского оркестра, и он шептал и шептал ей на ухо: «Если бы не было тебя, скажи, для чего мне жить? Если бы тебя не было, я хотел бы попробовать изобрести любовь, как художник, который видит пальцами...». И Андрей касался Людкиной шеи, и Людка прижималась к нему сильнее.

Нет-нет. Он лукавил. Конечно, Андрей помнил, как любил эту женщину. Так любят только один, самый первый раз, когда ещё не знают, что делать с чувствами, когда кажется, что самое большое, что можешь ты совершить для любимой, – это дать ей в руки ружьё и попросить выстрелить тебе в грудь, чтобы умереть ради неё. Глупость, конечно, и книжная романтика, но так бывает с мальчиками, а потом и с юношами.

А под утро, перед рассветом, когда пришла пора возвращаться, потому что позже возвращаться уже было бы невозможно, они поехали по короткой дороге, выехали у самого поворота на Струги и, конечно же, не могло быть иначе, увязли в чёртовой луже.

Андрей усадил Людку за руль, показал, что надо нажимать, как переключать передачи с передней на нейтраль, на заднюю, опять на первую, а сам, подтянув джинсы выше щиколоток, вышел из машины и упёрся руками в багажник. «Москвич» газанул и довольно легко выскочил из жижи, обдав Андрея фонтаном камней и грязи. Людка смеялась. Андрей смеялся.

– Дай я поведу дальше, мне понравилось, – попросила она, но Андрей не разрешил.

Людка надула губы, попыталась обидеться, но у неё не получилось.

– Потом разрешишь, не сейчас, потом? Мне понравилось.

– Разрешу, а сейчас поздно. Ты перегазовками полдеревни разбудишь. И так уже слухи о нас идут.

Андрей лукавил. Они считались женихом и невестой с самой школы. Он с пятого класса дрался из-за Людки, с которой пытались заигрывать все более-менее решительные парни. Андрей дрался со всеми. Не разговаривал, не пытался выяснять отношения, отбрасывал школьный портфель в сторону, скидывал куртку и бросался в атаку, не представляя себе, как может иначе защитить свою любовь. Иногда ему доставалось, иногда сильно, но побеждал всегда Андрей. Всегда. В девятом и десятом классе, когда из некрупного паренька Андрей вырос в высоченного мускулистого парня, надежду районной секции бокса, охотников погулять с Людкой сильно поубавилось. Иногда на танцах пришлые из соседних деревень, чудом не знакомые с Андреем, или городские, приехавшие на лето, приглашали красивую, тоненькую, в серых обтягивающих джинсах и белой блузке с застёгнутым под самый подбородок воротником-стойкой девушку на медленный танец, иногда даже на два танца подряд. Людка не отвечала отказом. Она была принцесса. Ей нравилось, что Андрей дерётся из-за неё, раз за разом доказывая свои чувства и своё право гулять с ней. И вот Андрей подходил к танцующим, трогал парня за локоть и кивал головой в сторону выхода. А потом повторялось всегда одно и то же. Короткий прямой джеб в голову и нокаут. Один удар. Андрей бил в лоб, чтобы вывести противника из игры, но не разбить нос или глаз.

Она ждала его из армии. Это вообще очень сложно – ждать два года в восемнадцать лет, когда гормоны не знают милосердия и сутками кипятят кровь, усиливая огонь к вечеру. Но Людка ждала. Он знал о том, чувствовал, что ждёт. Да и ребята передавали, что да, ни с кем не гуляет, на танцы ходит раз в месяц и танцует только быстрые танцы. И ещё она писала письма. По два-три в неделю. И в каждом письме она писала только о них двоих и ни о чём другом. Конечно, это была его девушка, только его девушка.

Через неделю была свадьба двоюродного брата Андрея. Он женился на их общей с Людкой однокласснице и подруге. Готовились, как всегда, несколько дней. Возили продукты из Струг и Луги. И праздновали два дня шумно, пьяно, как принято. На свадьбу «москвич» украсили лентами. Ехал Андрей на нём сразу за чёрной «Волгой» с молодожёнами, бибикал от души. На пассажирском сидении – Людка, сзади – их одноклассники. Третьим в кортеже – отец на сов-

хозном узике-буханке, а замыкал – дальний родственник невесты из Ленинграда, моряк-грантплавания, на настоящем длинном сером «Форде» с правым рулём. В «форде» ехали родители жениха и невесты. От загса в Стругах отправились к Вечному огню, а потом уже в Пятчино. Ехали медленно, километров сорок в час, растворив окна в аромате мая, гомоня гудками, стрекоча на разные лады музыкой из автомобильных приёмников и кассетных магнитофонов, пытаясь составить конкуренцию заливыстым «Арабескам» из мощной стереосистемы «форда». Уже в деревне доехали до магазина, где все высыпали из машин, стали открывать дефицитное шампанское и кричать: «Горько!». Потом был огромный стол в доме, стол под навесом во дворе. Шум. Радость. Людка пьяная, но оттого ещё более прекрасная и желанная, лезла целоваться. Андрей стеснялся, но нет-нет да и слегка обнимал девушку, чувствовал на своей верхней губе щекотку от нежного Людкиного пушка. А Людка запрокидывала голову так, что её волосы струились волнами, хохотала, а ему хотелось целовать её шею, сквозь кожу которой просвечивали голубые венки.

Второй день – продолжение застолья, потом в клубе, где уже дискотека, танцы и молодёжь из окрестных деревень. Накануне Андрей выпил на свадьбе самую малость, а уже после обеда успел съездить в Струги за диск-жокеем, погрузившим на крышу его «москвича» огромные чёрные колонки, а в багажник – смотанные бухты проводов. Под тяжестью музыки автомобиль прижало к земле, и Андрей боялся, что на переезде стукнет поддоном картера об рельсы. Однако обошлось.

Он пообещал диск-жокею, что отвезёт его после танцев обратно. Машина стояла за клубом, припаркованная возле трансформаторной будки, освещённая светом фонаря.

Майский вечер, когда уже почти тепло, когда ночь неуверенно начинается лишь к двенадцати часам, а до того долгое закатное зарево в стёклах всех домов, а потом белёсый, почти северный сумерек. Суббота грохочет музыкой из открытой двери клуба. Гости, высыпавшие покурить на воздух. Сигаретный дым над головами. Дети, затеявшие между взрослыми беготню и игру в догонялки.

Людка увлекла его за клуб. Андрей бросился целовать девушку, но та показала рукой на машину.

– Ты обещал!

Он помог ей сесть за руль, аккуратно хлопнул дверь, бежал машину и сел на пассажирское сиденье. Людка завела двигатель и, лихо выкрутив руль, дала задний ход, разворачиваясь.

– Где научилась? – удивился Андрей.

– Есть учителя, – лукаво улыбнулась девушка, переключилась на первую передачу и, не отпуская ноги со сцепления, поглядела на себя в зеркало заднего вида.

– Ну, поехали, – сказала она и резко нажала на газ.

«Москвич» рванул с места и скоро доехал до магазина. Там Людка притормозила, развернулась и поехала в обратную сторону, набирая скорость.

– Люд, осторожней, там люди. Не гони так, – Андрей видел, как стрелка спидометра дошла до пятидесяти километров в час.

– Не суетись. Всё осторожничаешь, а с машиной, Андрейка, надо, как с девушкой, – Людка чуть притормозила на повороте и вновь выехала на серый потрескавшийся асфальт, ведущий к клубу. – Смотри, как надо!

...Вину Андрей взял на себя полностью. Сказал, что за рулём был он, что не справился с управлением, отвлекшись на что-то постороннее: не то окрик, не то смех. Про Людку вообще не упомянул. Да и что бы ей? Положа руку на сердце, знал Андрей, что виноват только он один. Что из-за его уступчивости, желания угодить девушке случилось непоправимое. И готов был к самому строгому наказанию, желал его. Когда же судья, зачитывая приговор, наконец, произнёс: «...к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима», то захотелось ему закричать: «Мало! Почему так мало?! Девочки больше нет, а я живу. Мало четыре года!». И тогда же это «Мало!» он прочёл в глазах Алёнкиной матери, впервые найдя в себе силы посмотреть на неё не украдкой, а прямо. И это «Мало!» загудело в зале, и это «Мало, тебе, собака, дали, видать, пожалели» лязгнуло задвижкой в полицейском уазике. И потом оно же долго барабанило в дно машины камнями, жажало чугуном и сталью на сцепке вагона, лопалось алюминиевой фольгой полярного дня. И уже потускневшим, ржавым по краям эхом каждое утро отражалось от дальнего угла барака, как только открывал Андрей глаза. «Мало. За это всё мне мало».

Доски, которые Андрей с соседом грузили на багажник фиолетовой «четвёрки», удалось купить за пару бутылок водки, приготовленной из разведённого спирта Royal. Четырнадцать сороковок, нарезанных по два метра, а к ним ещё три бруска десять на десять и три бруска пять на пять. Здесь, на старой пилораме в районе Шахтной, на той, что помнила ещё если не Орловского, то всяко уж полковника Халеева, цены были божеские. От Котласа и до Воркуты любят рассказывать, что ящик «Столичной» легко меняется у хантов на стадо оленей, но это, скорее, этнографическая гипербола. Никто тех выменянных оленей не видел. Дураков на северах сыскать сложно, а брехунов – каждый второй.

Договаривался с лесопилкой не Андрей, а сосед Витька, работавший таксистом-бомбилкой и знавший в Инте всех нужных людей. Расплачивался тоже он.

– Покури пока, я добазарюсь, – сказал Витька, заглушив мотор. Достал с заднего сиденья кожаную кепочку и натянул на свои рыжие кудри по самые брови, глядя в зеркало заднего вида.

– От так. Не бзди, сейчас всё будет! – важно приказал он, сухо хлопнул водительской дверью, сунул во внутренние карманы куртки водку и, покачивая плечами, сплёвывая по сторонам, направился по кислым опилкам к разверзнутому тёмному зеву ржавого ангара...

– Запомни, Англичанин, семейная жизнь начинается и заканчивается брачным ложем, – учил Дейнега, сидя на нарах в балке в июле, накануне собственного дня рождения. Они только что закончили бурить очередную скважину в долине Большой Сарьюги и готовились к переброске дальше на восток.

– Поскольку ты мой будущий родственник, я тебя научу. Никаких диванов с поролоном, никаких кроватей с шарами и панцирной сеткой, никакой этой мешанской глупости, пригодной только для того, чтобы собирать пыль. От этого произрастает французское слово *adulterer*. Вот! – он хлопнул ладонью по нарам, на которых сидел. – Доски, два слоя матрасов – и твоя половая жизнь не станет предметом обсуждения соседей.

После того, как жених с невестой обошли все немногочисленные интинские магазины, набили синяки об углы старых шкафов в обеих интинских комиссионках, но так и не поняли, на чём спят их соседи, Андрей вспомнил о совете Егора.

Выход из положения показался столь очевидным, что они с Дашкой в изумлении посмотрели друг на друга, словно не понимая, что за морок заставил их потерять целый день в поисках семейного ложа среди полировки и стекла желтушных шкафов с бирками инвентарных номеров. Егор за время работы привык спать на добротном сколоченных нарах. Да и в общежитии ему досталась удачная кровать с подложенной под пружины толстой фанерой. Но тут предстояла плотницкая работа высокого качества, потому он позвонил к соседу и спросил рубанок.

Сосед Витька был на три года старше Андрея. Ему недавно исполнилось (пожалуй, что не исполнилось, а именно «стукнуло») тридцать. Начал он справлять юбилей в сентябре, когда Андрей ещё не вернулся с гряды, а закончил к середине октября. Тогда же он и завалился к ним с Дарьей домой знакомиться с будущим соседом, в надежде занять под это дело на опохмелку. Мужик он был неплохой, хотя шепутной и какой-то непутёвый. С шестнадцати лет с перерывом на службу работал на шахте, ходил даже в передовиках, пока на очередном медосмотре не заподозрили у него начинающийся силикоз лёгких. Профсоюз направил его на месяц в Крым по санаторно-курортной путёвке. Не то что силикоз был в этих краях каким-то особо экзотическим заболеванием, но по возвращении жена уговорила Витьку уволиться. Помыкавшись по временным халтурам, отправился тот в Печору, где по случаю, а скорее по особому везению, купил за недорого пятилетнего жигулёнка с разбитым после аварии кузовом, привёз его на платформе в Инту, отремонтировал и теперь бомбил круглые сутки. Как многие, родившиеся тут, мечтал заработать деньги и уехать жить на море.

Строго говоря, родился он не в Инте, а на Пятнадцатом, то есть в посёлке Южном, что ему ещё на шахте ставили в упрёк, потому как ходил Витька на работу пешком «нога за ногу» и часто опаздывал, хотя от дверей дома до проходной нормальный человек прошел бы за двенадцать минут. С собственной женой познакомились они там же, в Южном. Работала она на птицефабрике. Тихая, фигуристая, пусть немного косящая, но миловидная женщина почитала Витьку за господина, прощала ему и запои, и дурацкие авантюры, видать, любила. Детей у них не случилось, но, похоже, Витьку это не сильно расстраивало. «Успеется ещё», — отмахивался Витька, когда мать в очередной раз качала головой и корила

сына, что бабу он себе нашёл дурную, что врёт та ему, что если не может родить, пусть едет в Москву к докторам, обследуется, а «не сидит перед телевизором». Мать приезжала к Витьке раз в неделю на автобусе с инспекцией, когда жена была на работе. Она перемывала и без того чистую посуду, тёрла крашенные доски коридорного пола вонючим химическим средством и успевала за два часа так взъерошить Витькину душу, что, лишь посадив мать опять на автобус, только-только помахав ей рукой, бросался он либо в cocheгарку к корешам, либо к собственному багажнику, где для коммерции держал ящик водки, и напивался в слюни.

Соседи Витьку жалели. Жили они с женой по местным понятиям душа в душу. Витька Наталию не поколачивал, сам, напившись, по окрестным девкам не бегал, а только выходил на лестницу, усаживался на подоконник, курил, вдавливая окурки в жёлтую жестянку из-под растворимого латвийского кофе и, какое бы время года ни случалось, открывал окно и пел, уставив острый с ямочкой подбородок то в чёрное, то в белое небо. Пел что-то нутряное, в чём слов и нот было не разобрать, но клекотали поперёк горла страсть и покаяние.

19

Маленькие северные города, посёлки при рудниках и шахтах разбрелись бараками по обе стороны полярного круга по кромке крошева пустой породы и шлака cocheгарок. Они — как мелочь, брошенная на сдачу в серую алюминиевую тарелку тундры, прикрученную к прилавку материка. Здесь всякая жизнь цепляется за жизнь, радуется прибытку. В прочей русской деревне, пусть в той хоть пять дворов осталось и уже только дачниками летняя жизнь теплится, сколько бы ты не прожил, перевезя свой скарб и труд свой местам этим посвятив, всё останешься чужаком и приживалой, всё найдётся на тебя цена поверх цены для местных, повод для разговорчика. Так и проходишь в городских. А вдруг вздумается помереть да единожды нырнёшь в землю на местном погосте, то пусть и придут по традиции к тебе в дом соседи, но лишь за тем, чтобы выпить да поесть по-человечески всего вкусного, привезённого из далёкого того желанного и ненавистного города безутешными родными.

Северный посёлок не таков. Он каждого, кто тут чуть дольше, нежели на сезон, кто чаще, чем раз в год, сразу карандашиком в книжечку, а книжечку во внутренний карман пиджака, где теплее

всего, куда под подкладку ещё с конца сороковых попала толика жалости да там и осталась крошечком табака и сухарей.

Витька, только осознал, что речь идёт о брачном ложе, пришёл в неистовое деятельное беспокойство, отличающее практикующего алкоголика от прочих. Но Витька не за пошлую трёшницу на опохмел радовался. Вдохновило его, что за филенчатой дверью авось и послышится младенческий крик, затопают сандалеты по деревянным ступенькам с третьего этажа на первый, лопатка застучает по перилам и прольётся Божия благодать во след дитю человеческому на дом, квартал да и на весь Север, откуда который год бежит жизнь, стремится всяким поездом, самолётом. И если бы не каждодневная привычка, пошлая эта круголесица да надежда на нечто, чему и не бывать никогда до Страшного суда, так и вывело бы дурное время русского человека из этих мест как некое вредное насекомое. И остались бы только гнутые рёбра ангаров, проросшие берёзкой фундаменты бараков да ухающее в память вечной мерзлоты долгим ржавым эхом тонкое в дырах гвоздей железо на ветру.

Когда человек уходит, он не забирает с собой звуки и тени, не грузит их на вездеходы, не пакует в чемоданы и вьючники. Он бросает всё это где придётся, избавляясь сразу и от памяти, и от мусора. И ворожливые местные духи десятилетиями разбирают по фантику, по пуговичке те завалы, нашёптывая сквознячками в углы бывших жилищ остатки слов, прощальные окончания человеческой речи. И если не повезёт кому заночевать в тех местах, поддавшись искушению спрятаться от ветра за стенкой или укрыться от мошкар, то затоскует он чужой тоской, той, от которой до конца его некогда счастливой жизни не будет избавления...

Витька появился в проёме лесопилки и поднял над головой две руки, сомкнутые в замок, сигнализируя, что сделка совершена.

– Ну вот, сейчас нам отгрузят прошлогоднюю сороковку, она уже высохшая, – сказал он, улыбаясь во весь свой щербатый рот. От него сладко пахло водкой. – И брус я ещё сторговал десять на десять. Мы тебе такой кроссинговер делаем, как у Горбачёва.

Нравилось Витьке это заграничное словечко. Подцепил он его случайно год назад, услышав по радио в какой-то научно-популярной передаче. Что оно обозначало, он не знал да и не особо

интересовался. Чудились Витькиному уху в слове «кроссинговер» неведомая еврейская хитрость и заграничный шик. Подходило слово решительно для всего, вставало в любую фразу, любому предмету придавало лоск, а процессу – основательность. Ещё немного – и получил бы он такое прозвище, но запомнить это слово удалось только Витьке, остальные, как ни старались, не могли: «Студебеккер какой-то».

Андрей вышел из машины, достал с заднего сиденья ножовку и брезентовые перчатки и пошёл за Витькой к навесу, где желтели штабели сортового распила.

– Значит так, – скомандовал мужик, в гэдэровской спецовке, с очками в модной тонкой оправе на кончике носа, – четыре сороковки по шесть метров, один брус. Всякой дряни можете набирать в отвале, пригодится штапики в стёклах заменить, ну и вообще. Это, что называется, сколько увезёте. Но особо не наглейте.

Мужик показал, откуда брать доски и проследил, что именно взято.

– Молодожён, после того как фуганком пройдёшься, рубанком подчисти и обязательно олифой пропитай. Лаком не крась, и так цвет будет что надо.

Мужик ковырял спичкой в зубах и оценивающе смотрел на Андрея:

– С какой?

– Восемнадцатая, – спокойно назвал Андрей, привыкнув уже, что другие сидельцы ошибочно определяют в нём своего.

– Харп, – мужик сплюнул себе на сапог и выругался: – Дерьмо – зона, красная. Хотя трёшка ещё хуже, там теперь и режима нормального не осталось. Ну ладно, совет да любовь, как говорится.

Он махнул рукой, показывая, что больше его присутствие не требуется, и ушёл к себе в ангар.

Доски распилили одинаковыми отрезками по два метра и погрузили на багажник Витькиной «четвёрки». Витька крепко принайтовал их брезентовыми ремнями. Подёргал для надёжности и удовлетворённо крякнул: «Полный кроссинговер!».

Они забрались в машину, и Витька завёл двигатель. Тесный салон жигулёнка наполнился парами сивухи, стёкла мгновенно запотели. Витька выругался, достал из-под сиденья кусок фланельки и стал протирать лобовое стекло.

– Как же ты за руль, если выпил? – укорил его Андрей.

– Ну и что? На всю Инту четыре гаишника, двое – мои одноклассники. Мне вообще, если трезвый, машину жалко. Это же не дороги, это бельевая доска. Тут на «форде» ездить надо или вообще на танковом тягаче. А как выпью, так нормально. Но когда бомблю, не выпиваю. Коммерции мешают. Я если пьяный, сильно добрый становлюсь, могу и задаром повезти. Однажды всю ночь проездил, оба экспресса встретил, а только трояк заработал. Ну а как? Одного знакомого подвёз, потом второго знакомого, потому ещё кореша с бабой. Как с них деньги брать?

Андрей вытащил из кармана три рубля, свернул в трубочку и засунул в решётку рефлектора на торпеде.

Витька шарахнул по тормозам.

– Сейчас выгружу твои дрова прямо здесь. – Он покраснел, а его голубые глаза заморгали часто-часто. – Сам помочь вызвался, ты меня не нанимал. Трёшницу свою убери.

Андрей пожал плечами и сунул деньги в карман. Витька посопел-посопел над рулём, подёргал туда-сюда нервно ручку переключения передач, пожевал сигаретку, перекатывая фильтр из угла в угол щербатого рта. Оттаял. Поехал.

– Всё-таки, Англичанин, ты понтыра. Может, врёшь, что из деревни? Город выпирает. Я деревенских повидал, те мягче, даже те, кто совсем борзый. Ты другой. Гордость в тебе.

– Это как?

– Живёшь правильно, а не по понятиям, слишком сложно. Мне помирать придётся – Наташка к тебе с Дарьей побежит к первым. На Севере соседями не разбрасываются, по пустякам на рубли не меняют. Усёк?

– Усёк, – Андрей без того уже стыдился своего жеста.

Вообще он себя едва ли считал за знатока людской души. Тонкости всякие Андрея волновали не сильно. Будь с людьми в ладу, правила соблюдай, подлости не совершай. Вот и вся нехитрая философия. Чувствовал Андрей, что всё, что есть неприятного, неловкого, дурного в русском характере, есть и в нём самом. Всё, что раздражает в русском человеке, что пугает, что приводит в бешенство, недоумение, заставляет сожалеть или улыбаться, – это тоже внутри него, внутри всех. Пусть переживёт он сотню страстей, и все они улягутся в душе. И места для них там, на стеллажах, всегда найдутся. Всегда. Понастоящему только одно и понимал Андрей в

людях – хороший человек перед ним или скверный. А Витька был хороший.

Да и обиделся Витька зря. «Городская обидка», – решил Андрей. В Пятчино по-человечески друг другу помогают, но спешат сразу чем-то отплатить. Наточил на станке топор – на тебе ведро яблоч. И ничего, что своих полон сад. Свозил газовый баллон на заправку – вот баклажаны из парника. А если с похмела стакан налил, так и дрова поколоть можно. И нет в том ничего зазорного. Так лучше, нежели в долгах. Но городским не понять. В городе живут иначе, даром. Да и живут иной раз напрасно. Хотя какой же Инта – город? Это всё Север. Тут свои законы.

## 6

Через неделю приехали из Сыктывкара родители Дарьи и Егор с женой, которая к тому времени была на пятом месяце. Устроились родственному. Однокомнатная их квартира, почти на треть теперь занятая основательным семейным ложем и оттого казавшаяся невозможно маленькой, словно вдруг раздвинула клеенные полосатыми обоями стены и вместила всех. Старая тахта с тумбочкой, та самая, на которой раньше спала Дарья и на которой они вместе, когда «...ну да, это так получилось, короче говоря, всё, как у всех», и которую Андрей твёрдо решил выкинуть сразу после свадьбы, теперь стояла вдоль окна. Свободного места почти не оставалось. И на сиротских тех квадратных метрах, на двух надувных матрасах (один за столом, другой перед столом, потому как не муж и жена ещё), уступив лучшие места гостям, устроились жених с невестой.

С родителями Дарья Андрей уже был знаком. Этим летом между вахтами Дейнега уговорил друга съездить в Сыктывкар, где будущему зятю устроили серьёзные смотрины. Осталось у Андрея после той поездки смутное ощущение недоверия. Шутка ли, дочь выходит замуж за уголовного. Маленькая девочка, умница, ту, которую лелеяли и целовали. Та, которая болела три раза в год пневмонией, а отец сидел день и ночь у кровати и смоченным в уксус полотенцем протирали тонкую горячую кожу на шее и над ключицами. Та самая девочка, которая до глубокой ночи решала задачи по математике, зубрила «Вересковый мёд» и отрывки из «Горе от ума», а утром её, сонную, мягкую, вспотевшую, папа нёс на руках в ванную (в ванную, в которой теперь перед зеркалом в стакане торчала безопасная бритва Андрея).



Но сейчас, когда Витька привёз Дарьиных родителей с аэродрома, они обняли Андрея как самые родные на свете люди, чем смутили. Значит, что свыклись, пришли с собой в лад. И верно, дочь уже взрослая, самостоятельная, неглупая, с высшим образованием. И вроде всё спокойно, без истерической влюблённости, как у людей и должно быть.

А на следующий день ждали родителей Андрея. Андрей волновался. Прошлой весной впервые за пять лет оказался в Пятчино. Это было сразу после выпуска из училища, перед первой самостоятельной вахтой. Всё у них с Дарьей ещё только начиналось, и Андрей и сам не доверял себе, присматривался к счастью. Может, и рано было рассказывать. Да и вся эта нетрезвая кутерьма вокруг его приезда не располагала к откровениям. А этим летом между вахтами отослал он заказным письмом с почтамта домой фотографии: свою прошлогоднюю возле буровой и их совместную с Дарьей, зимой возле ледяной горки на берегу Большой Инты. Снимки сделал Егор на широкую плёнку фотоаппаратом «Киев» и сам же напечатал. Андрей писал о том, как познакомились, как живут. Писал, что решили пожениться, подали заявление. Только, что Дарья уже в положении, не писал, может быть, потому, что робел. В ответном письме мать рассказывала про бабушку Шуру, которая стала чаще болеть, про то, что старший сын её, одноклассник отца, приезжает из Ленинграда всё реже и реже, Симагина же с матерью своей только собачится на всю деревню, ругаются почем зря. Людка развелась и хороводится с новым хахалем, ей не до бабкиного здоровья. Думает только о том, как дом у матери оттяпать. Писала про отца, перешедшего работать в правление, про кусты смородины, которые она решила пересадить, про то, что обещали запустить автолавку, но директор магазина написал клевету в администрацию, и теперь автолавки не будет. А это плохо, потому что продукты в автолавке дешевле, а овощи всегда свежие. И лишь в постскриптуме мать написала: «Получили письмо с фотокарточками».

Он писал ещё трижды непривычно для себя многословные, словно извиняющиеся письма, но ответа не получал. И когда за месяц до события дал телеграмму на праздничном бланке с двумя кольцами и решил, что если не будет ответа, плюнет на вахту. Пусть даже Теребянко всыпет ему выговор, он бросится на юго-запад, через километры, как встарь, испрашивать благословения.

Выйдя с почтамта, Андрей с тяжёлым сердцем погрузился в котласский до Кожима, чтобы утром на вездеходе заброситься на Гряды.

Три дня ходил он на работу в самом скверном расположении духа, чуть не погнул стрелу, очнувшись от своих мыслей, лишь получив в затылок отборный мат Трилобита, и только на четвёртый день, вечером, во время сеанса радиосвязи, услышал долгожданное: «Телеграмма Краснову-Краснову. Поздравляем. Выезжаем поездом четырнадцатого-четырнадцатого. Вагон десять-десять. Родители. Как поняли? Как поняли? Приём!».

Отца с матерью встречали втроём: Андрей с Дарьей и Витька. Остальные не помещались, а второе такси решили не брать. В этот раз Андрей даже не пытался предложить Витьке деньги. Он просто постучался в дверь и, когда Витька открыл, спросил: «Сосед, сможешь с родителями?».

Пока Андрей жал руку отцу, пока мать обнимала Дарью и плакала, почувствовав под шубкой упругую крутость чрева будущей невестки, Витька подхватил чемодан и пошёл по перрону.

– Друг? – отец кивнул в сторону удалявшегося Витьки.

– Вроде того.

– Пожил уже, а не поумнел, – рассмеялся отец. – Не бывает так с дружбой. Либо друг, либо нет.

Витька вёл машину аккуратно, против обыкновения не курил, форточку туда-сюда не дёргал, музыку на кассетнике не включал, в разговор не вмешивался.

Прекрасно было сидеть на переднем сиденье жигулёнка, обернувшись назад, и смотреть на трёх любимых людей. Даша посередине, между отцом и матерью, те тормозили её, что-то спрашивали, она вертела головой, отвечая то одному, то другому, все смеялись. И Андрей смеялся, болтал, шутил над Дашкой, показавшейся вдруг похожей на взъерошенную морскую свинку и оттого ставшей ещё более трогательной и любимой.

Утренняя октябрьская Инта, завёрнутая во влажную простыню дымов, по сторонам дороги то тут, то там выдыхала парок из освещённых подъездов, кашляла дверями на плотных пружинах. Рабочая пятница всюсь рядилась на дневную вахту. Две остановки подряд ехали они за автобусом, который Витька никак не решался обогнать. И в надышанный, оттаенный кругляшок заднего стекла смотрела на них любопыт-

ная ребячья мордочка, не то мальчик, не то девочка, не разобрать. И когда Андрей помахал рукой, в круглом окошечке показался маленький розовый язык.

Для своих Андрей заранее забронировал номер в гостинице, в которой сам жила между вахтами. Номер незнакомый, на втором этаже у вестибюля, комфортабельный: с телефоном, телевизором, торшером. В номере, помимо двух кроватей и дивана, стояло ещё и кресло с прокуренной на века вечные обивкой и журнальный столик с хрустальным блюдом и хрустальным же графином. Солидное жильё для солидных командировочных. Отец взял их с матерью паспорта и пошёл регистрироваться. Андрей понёс вслед чемоданы. Потом они поднялись в номер, и отец, оглядевшись, щёлкнув пальцем по краешку хрустального графина, хмыкнул: «Порядок». Он повернулся к сыну и как-то особенно посмотрел на Андрея.

– Ты чего, пап?

– Непривычно. Взрослый какой-то. Ещё прошлой весной заметил, когда приезжал.

– Да я давно такой, – заулыбался Андрей.

От гостиницы доехали быстро. В квартире пахло сдобой. Дашкина мама ещё с вечера поставила тесто, нарезала с утра вместе с дочерьми яблок, перемешала с тягучим брусничным вареньем, и теперь на кухонном столе, на вновь застеленной клетчатой клеёнке, гордо и основательно глядели в прихожую несколько глубоких тарелок с горками пирожков.

Знакомились, словно выдыхали. Если и были у кого до того сомнения и противоречивые чувства, то после того как прилипли бок к боку на маленькой интинской кухоньке вокруг стола с пирожками, выпили по стопке привезённого Дашиным папой пятизвёздочного дагестанского коньяка, у каждого отлегло от сердца. Всё стало просто. А что тут сложного? Вот родители, а вот их дети.

## 7

«Простоват ты, сын», – говорил отец, когда Андрей ещё учился в школе. Не то что с укором говорил, скорее, с узнаванием собственного характера, с сожалением, что вместе со льяными волосами не передалось сыну того, что сверкало в жене: крестьянской хитрецы, крепостного лукавства. По роду её Курины, жившие в каждой деревне Плюссненского района, происходили не то от шустрых потомков Ольгерда, не то от ли-

товских крепостных, вывезенных помещиком Христовским из Курляндии и с семенем того же помещика да местной чуди приросших многочисленным белоголовым и белозубым потомством. Сам же отец был человеком неизворотливым, прямым, как его чёрные с проседью, топорщившиеся ёжиком волосы; иной раз резким до колкости, но отходчивым и незлопамятным. Родился отец ещё до войны, своего отца, скуластого красноармейца, в шлеме с шишаком, как на одной из двух сохранившихся фотокарточек, сгинувшего где-то в тех же местах, в которых сейчас работал Андрей, он не запомнил. Когда пришли немцы, было ему только четыре года. Из-за приподнятых острых скул да карих глаз называли его татарчонком.

Приехал офицер в серой форме со взводом автоматчиков, назначили старосту, определили на следующий год сроки посевной, объяснили, что куда сдавать, где, у кого и какие брать документы, поселили в доме, где теперь почта, четырёх своих солдат с унтером да и уехали.

Немцы не озоровали. Солдаты, вначале настороженные, серьёзные крестьяне-баварцы, через месяц пообвыкли, разнежались и иной раз поперёк их тевтонского устава могли отправиться с девками в лес за ранними груздями, закинув винтовки за спину, покусывая травинки. А бывало, что, скинув кителя, упирались сапогами в жижу невысыхающей на краю деревни лужи да и выталкивали, крикая и ругаясь по-своему, увязшую подводу с сеном из хитрой глыбкой колдобины.

К тем солдатам, как и к рыжему лопухому унтеру, в деревне все привыкли, за захватчиков не считали, называли «наши немцы». Унтер частенько сидел перед избой в одном исподнем и вырезал из чурочек деревянные ложки с длинными, не по-русски загнутыми черенками, которые дарил ребятишкам.

Отец тоже получил такую ложку и прибежал хвастаться к матери. Та покачала головой, ложку засунула между льяных полотенец в комод, а сыну наказала играть в другом месте. Но как же в другом, когда самое интересное здесь, в центре деревни.

Бывало, что вечерами унтер выносил из избы огромный, как самовар, аккордеон с жёлтыми костяными клавишами и рядами перламутровых кнопок и начинал играть что-то такое грустное, в чём звучали голоса посторонних этим лесам животных, плеск чужой воды или эхо песен принцесс из сказок с нездешними названиями. Девки

23

устраивались в отдалении, на скамейках у заборов, дети ближе, прямо на земле. Солдаты выносили из дома ладные, ими же сколоченные табуреты и усаживались с серьёзными лицами рядом с девочками. Музыка была столь сложная, столь непривычная, не танцевал. Пусть и походил звук на звук гармошки, но оказывался сочнее и глубже, с каким-то эхом, какой-то не то тревогой, не то мыслью. Отец много раз за детство рассказывал Андрею про ту музыку.

И всякий раз, когда по радио начинали передавать органный концерт, маленький Андрей вставал на табурет, дотягивался до чёрной ручки и делал громче. После бежал на двор звать отца слушать.

Они оба садились на скамью под окном и замирили. И чужие, неудобные этому месту звуки возвращались скрежещущим эхом от репродуктора, установленного возле коровника. И всё пропадало, замирало в гармонии, однажды уже подчинившей себе эти места. И лишь тогда взрывалась природа стрекотом мелочи в траве, мычанием коров и рокотом мотоцикла с коляской, когда дикторша сообщала что-то вроде: «По заявкам радиослушателей мы передавали симфоническое произведение Иоганна Себастьяна Баха «Прелюдия и fuga ля минор». А теперь прослушайте прогноз погоды от Гидрометцентра для Ленинградской, Псковской и Новгородской областей».

В сентябре сорок третьего в Заплюсье партизаны пожгли хлеб, приготовленный к отправке и уже погруженный на длинные фуры, под запряг откормленных, лоснящихся лошадей маркитантской роты. Это бы и ничего, но после того как на Киевском шоссе то и дело стали рваться мины, заложенные у краёв дорожного полотна не то диверсионными группами Красной армии, не то теми же партизанами, концерты прекратились. Немцы теперь ходили по деревне исключительно по двое и с оружием, смотрели на девочек растерянно-виновато. Унтер каждые два часа, даже ночью, что-то каркал в рацию по-немецки.

Мать запретила мальчику выходить со двора, строго-настроено наказав не появляться возле немцев. Да и смекали мальчишки, что поменялось что-то, возникло ожидание нехорошего, словно ещё не случившаяся, но уже неизбежная беда расплзлась во все стороны по времени и пространству. Однажды поздней сентябрьской ночью, когда свет от луны смешался с паром,

поднимавшимся от убранного картофельного поля за домом, а небо уже перебродило гусиной перекличкой и замерло до утра, за забором грохотом выскочило так, что в общей спальне, окна которой выходили на дорогу, задребезжали и треснули стекла. Сочные, хлесткие выстрелы винтовок, сухие автоматные очереди, до того только иногда вдалеке, за синим ельником, раскидались вдруг совсем рядом, от коровников до Хмёра и обратно. По стенам заплясали зайчики зарева, преломившись о стёкла двойных зимних рам. Дыхнуло жаром.

Тушить партизаны запретили. Бабы и старики, по привычке прибежавшие на пожар в исподнем, но с ведрами и баграми, жались в сторонке. А на фоне пожара у низкого штaketника в колышущемся мареве путались в дыму силуэты партизан.

Две машины с автоматчиками появились на рассвете. Немцы цепью прошерстили заросшее сорняком поле и опушку леса (дальше не решились), постреляли по стогам брошенного и скисшего от дождей сена, подпалили дом старосты, но самого и семью его не тронули. Не оставив никого из своих в деревне, спешно уехали.

Только через неделю, да и то после трёхдневного дождя, перестала дымиться дёгтем чернота. Мальчишки пробрались через забор на пепелище в поисках чего-нибудь интересного, что осталось от немецкого быта. Довольно скоро их погнали матери, но отец Андрея успел подобрать несколько опалённых, в чёрной копоти косяных клавиш аккордеона. Эти клавиши Андрей нашёл потом в ящике с инструментами и играл с ними, расставляя между кубиками как мосты, по которым ходили оловянные псы-рыцари и русские латники из набора «Ледовое побоище».

В середине октября сорок третьего, когда по полям неожиданно рано разлёгся и не успевал за день стаивать снег, всех в Пятчино разбудил рокот моторов. В деревню со стороны Струг въехали пять грузовиков с крытыми фургонами. Они остановились на главной улице. Из первого и последнего фургона выгрузились немцы и быстро распределились по всей деревне, оказавшись на каждом перекрёстке, возле каждого колодца, на каждой околице. Форма этих немцев была не такая, как у тех, что появлялись в деревне раньше. Уже одно это взволновало жителей. По району ходили страшные слухи об айнзатц-командах карателей, чинящих расправу не только над партизанами, но и над обычными крестьянами. Слухам невозможно было поверить, но они пугали.

Отец рассказывал, что помнил очень хорошо, как мать выглянула в окно, охнула, запричитала, забегала в сени и обратно, не в силах решить, что надо делать, и вдруг схватила сушившиеся с вечера на печке штаны и пальто и стала торопливо помогать сыну одеться. А потом широко распахнулась дверь, так что задребезжала нижняя петля, державшаяся не на четырёх, а на двух шурупах, и в дом вошли огромные, почти упиравшиеся головами в потолок немцы. С немцами были офицер, говоривший по-русски. Сзади, в дверном проёме, был виден староста, осунувшийся, с мешками под глубоко посаженными глазами, заросший седой щетиной. Офицер говорил без акцента, словно это был вовсе и не немец, а милиционер из Струг. Тон его был повелительный, уверенный. Офицер приказал незамедлительно подготовить к эвакуации имеющихся в доме детей и дать им с собой запас пищи на три дня в мягкой поклаже.

– Сколько здесь детей? – немец обернулся к старосте.

– Один мальчик четырёх лет.

– Ваш муж служит в РККА? – офицер посмотрел на мать.

– Нет. – Отец помнил, как она, до того словно согбенная, нервно вытиравшая руки о фартук, распрямилась и забрала за ухо выбившуюся прядь русых волос. – Арестован.

– Воровал? – заулыбался офицер.

– Его оговорили. Обвинили во вредительстве.

– Уповайте на вермахт. Чем скорее они закончат войну, тем раньше вернётся ваш муж. Ответственность за вашего ребёнка принимает на себя эсдэ. С настоящего момента он находится под защитой и ответственностью германских оккупационных властей. Вам незачем беспокоиться.

– Он никуда не поедет. Ему лучше со мной.

Мать попыталась загородить сына, но один из огромных солдат грубо оттолкнул её и подхватил мальчика.

Мать закричала, но второй солдат чем-то ударил женщину. Отец Андрея не видел чем, но на всю жизнь запомнил её, лежащую бездыханно на полу перед печью с кровью на лице и в спутанных волосах.

Детей со всей деревни погрузили в два фургона, в которых уже сидели притихшие ребятишки из соседнего Симонова.

Матери, которым запретили даже подходить к окнам, не вытерпели и, только взревели мото-

ры и двинулась колонна, повыбегали из домов, со дворов и бросились за грузовиками.

Отец вспомнил, как сидел у края кузова, перед самым бортом, рядом с солдатом, хотел и не мог высвободить ногу, на которую неудачно привалился какой-то мальчик не из их деревни, а колёнка другой ноги на каждой кочке больно стучалась об автомат этого солдата. И он терпел, и лишь однажды заскулил, когда стало особенно больно. И солдат, до того разглядывавший что-то на опушке леса, обернулся, посмотрел на него, улыбнулся, протянул руки, высвободил мальчика, подхватил под мышки и усадил удобнее. Он что-то сказал по-немецки, что-то незлое. Но отцу показалось, что это тот самый солдат, который ударил мать, и он прошипел: «Штоб ты сдох, Фриц».

– Фриц-Фриц! Да! Я Фриц, Фьодор. Мой отец – Фьодор. И я Фьодор Фьодорович, – засмеялся немец.

А отец заплакал, потому что это было невыносимо страшно, потому что был уверен, что мама умерла, что вот-вот и он умрёт, все умрут, даже товарищ Сталин. Хотя это совсем невозможно. Так рассказывали. Так брехали.

Рассказывали, что на окраины Струг приводили много детей вместе с родителями и там в них стреляли из пушки. Во всех сразу. И он знал, что если выстрелят в него из пушки, то ничего никогда не останется. И если только он будет в последний миг молить несуществующего Бога, то тот возьмёт его к себе, в небесный Кремль. И на небе будет он, будет папа, мама, тётя Оля, их пёс Стёпа, умерший прошлой весной от непонятной болезни, и кто-то ещё, кого он не помнит, но любит просто так.

Отец потом смеялся над этими своими мыслями, но Андрею их пересказывал. Конечно, с комментариями, с поздними, уже взрослыми. И Андрей слушал, поддакивал, тоже смеялся, но было ему не смешно.

И Андрей словно сам видел этот грузовик, это блёклое утро в Пятчино, в деревне, в которой родился, в том самом доме в самой середине деревни. Он почти слышал, как рыкает соляркой в снег и ржу тупорылый «хеншель», как лопается воздух, стонет затянутое гайками железо. Ему казалось, что он видит руки женщин, протянутые к кузову, в котором он, нет, не он, а мальчишки, совсем другие мальчишки, покорно качают головами и плечами в такт перегазовкам мощного германского мотора на каждой малой рытвине. И всякий раз он чуть ли не терял сознание,

проваливаясь куда-то в знобливую морось октября сорок третьего года, по ту сторону крашеного суриком штакетника, на перекресток дороги на Струги и дороги в никуда, в смерть и обморок осеннего шоссе с брыкавшейся шершавым копытом контуженной лошадью.

И пока грузовики медленно ехали через деревню, матери бежали рядом, по обочинам, поскользываясь на мыльных следах протектора, оступаясь и проваливаясь в бурюю жижу, но не спускали глаз с качающихся детских макушек и протягивали к ним руки. Они кричали, звали детей по именам, рыдали, сбиваясь со стога на вой и хрип. Но уже возле последних дворов движение колонны ускорилось, и матери отстали, хотя и продолжали бежать.

Машина, в которой везли отца, шла предпоследней. Они уже миновали поворот на Пламя, как вдруг вначале притормозили, а потом и вовсе остановились. Газующий впереди грузовик увяз. Слышно было, как истошно рычит мощный мотор, как с визгливым остервенением прокручиваются огромные баллоны, облепленные глиной.

Вечная лужа. Проклятье деревни. Огромная дыра к центру земли, заполненная словно бы вулканической грязью, то стреляющая по верхней воде плавунцами, то парящая под июльским солнцем глинистой кашей, то в рваных осколках ноябрьского льда швыряющая по обочинам студёную путаницу супеси и мелких камешков. Проложенная по древней гати дорога столетиями спотыкалась не то о пливун, не то о какую иную подземную силищу, которую, сколь ни заваливать её ветками, сколь ни перекаладывать брёвнами, ни вбивать в её ненасытную прорву булыжник и кирпичное крошево, а всякий раз вновь ловит она беспечных ездоков. Несчётно телег увязло по самые оси в её распутном лоне, начиная с подвод Ольгерда, гружённых мехом лисиц и соболя, золочёными окладами, сорванными с образов церковей окрестных погостов. И то лопарские заклятья, то литвинская брань, то ругань здешних скобарей срывались в небо вороньим граем с опушки ближайшего леса.

Второй секретарь райкома, ехавший в Пятчино по служебной надобности – наставлять и контролировать в осеннюю распутицу тридцать восьмого, бросил водителя возле эмки цвета беж, закопавшейся в жирную глину, и, закатав выше колена серое костюмное сукно, да всё едино изгваздавший и брюки, и полы плаща, пешком дошёл до сельсовета. И два часа орал

матом вначале на председателя, а потом и на подъехавшего не ко времени секретаря местной партийной ячейки так, что деревенским нужды не было подходить ближе, слышался грязный крик от клуба, где были обещаны по случаю субботы танцы, и аж до магазина.

После того случая председатель выписал на базе в Стругах Красных тридцать мешков цемента, пригнал с карьера две полуторки, гружённые песком, и всем миром законопатили ту сырость гладкой бетонной пломбой. Пломбу обнесли вешками, между вешек протянули верёвки, на которые навязали красные бантики из какого-то пришедшего в ненужность лозунга. Пять дней и пять ночей возле дорожного строительства выставлялась охрана из деревенских, отправляющая всех в объезд, чтобы никто по незнанию или ухарству не сунулся с тяжёлой техникой и не поколот свежий бетон.

По истечении тех пяти дней председатель вместе с мужиками, сняв опалубку, придирчиво осмотрели толстую, основательную плиту и посчитали дело сделанным. Грузовики и подводы на резиновом ходу вначале опасливо, а потом уже лихо проскакивали бывшее «гибкое место» всю остатнюю осень и зиму, выдавшуюся, как рассказывали, особенно снежной. И лишь в конце марта тридцать девятого зашевелилась земля, и бетонная плита начала медленно сползать с дороги. Мелкие трещинки, а потом и целые борозды стали заметны, почти сразу после того не прошло и недели, как земля под плитой задышала, а серый прямоугольник бетонного материка раскололся на сотни небольших островков, каждый из которых зажил своей жизнью под колёсами техники.

Летом плита перестала быть плитой, превратилась в бетонное крошево, то тут, то там выставившее в небо острые осыпающиеся края. Средств на ремонт у нового председателя не нашлось. Старый же, тот, что по слабости душевной затеял это строительство, попал в неожиданный оборот скорого следствия по делу о халатности и вредительстве. Всё это вовсе не имело отношения к яме на дороге да и вообще к чему-либо настоящему, а лишь умышлялось каким-то злым и обиженным на весь мир человеком, написавшим бумагу в милицию.

За осень и зиму страстная земная сила изломала давшую слабину человеческую заплату, выбила глиняными коленями корявые бетонные мячи на обочины, а по весне вновь пустила по наметившейся колее торопливый ручеёк. И вскоре

жители, стоявшие в очереди у магазина, в ожидании свежего хлеба, увидели спешащего к ним водителя полуторки, машущего руками, кричащего и просящего помочь вытолкнуть увязший фургон.

К этой луже привыкли. Ей веками носили дань вёдрами, опрокидывали в грязь, возвращали земле всякий мусор, всякую твёрдую ненужность, посвящали ей фантики жития. Посудный лом, кирпичные осколки, мятое и оставленное от хозяйства железо, всё прошлое родов тут от покона веков проросших, землёй этой выкормленных. Отец, сын, их отцы и долгая неназываемая за беспамятством лет крестьянская родословная, по воскресной дороге к заутрене зазываемая Ризоположенной церковью Хмерского погоста, плескали в глину и воду этой не то лужи, не то ямы, не то и вовсе Господних врат в вечность несложный быт своих семей.

А гробы с упокоившимися завсегда переносили по обочине на руках. И лишь миновав грязь, вновь устанавливали на телегу, чтобы идти сперва до перекрёстка дороги на Плюссу, а дальше – налево, в горку до самого Хмёра, плача и прощаясь.

Словно какой тугой меридиан тянул за собой строчку шитья с далёкого юга, с чужого жаркого материка на такой же далёкий север, к Берингову проливу, к Аляске, и делал тут стежок в льняном покое пскопской земли от одной до другой обочины дороги. И в том стежке решались вдруг прыснуть в разные стороны от брошенного мальчишкой камня разноцветные циклиды озера Танганьика или могла заворочаться, перевернуться с тени на солнце бурая крокодилья кожа огромного земноводного реки Лимпопо, с того самого места, где её пересекает тропик Козерога. А иногда промеж запаха полыни и репейника, цикория и другого какого местного разнотравья кидался в разогретый и звенящий кузнечиками воздух запах турецкого кофе с Самандира, долгой окраины Стамбула. Но то была величайшая редкость. Обычно впитывали его как губки мхи лесов вокруг Мозыря и Бобруйска, и тамошние зайцы кейфовали, валяясь на них и подставляя солнцу полинялые бока.

В ту осень, когда чужое железо харкало дымной газолиновой дрянью в октябрьское утро, когда хрустящая заиндевелая трава, торчащая из раннего снега, ломалась под подошвами бот отчаявшихся когда-либо увидеть своих детей и женщин, когда мутное солнце, встав из-за далёкого леса, постеснялось подняться выше, чтобы,

не дай бог, не разглядеть и не быть спрошенным за ту несправедливость, что родила темень и ночь, вот тогда Пятчинская яма, великая сия Лу-жа, вскипела ненавистью, самой африканской жарой и растопила грязь и лёд, сволокла в колею и зажала земным своим мускулом наглое тевтонское железо.

Отец слышал ругань на немецком, потом команды. Солдаты, сидевшие в их машине и в той машине, что шла за ними, прыгнули и побежали вперёд, где раздавалось уже: «Einmal, einmal zusammen! Einmal! Again!», стон мотора, визг скользкой резины, рыканье и звон клапанов бесильной четырёхтактной злобы.

И тут подросли женщины. Вначале они остановились чуть в отдалении, но лишь на краткий миг, такой, чтобы те, кто отстал, успели до тех, кто прибежал первыми, толкнули их, и вот уже все вместе бросились к фургонам, протянули руки вверх и стали хватать тех детей, что были ближе. Они спускали ребят на землю, следующих, следующих, тех, кто не побоялся.

Отец рассказывал, как тётя Шура, их соседка, подхватила его, сняла с борта в жижу и ледяную пульпу, крепко схватила за руку, в другой руке у неё уже была ладошка Лёшки, старшего сына, и рванула к лесу. И вот они уже бегут вместе с остальными. И светло от серого неба, и темно впереди, а сзади пока только перегазовки и карканье немецкого языка – ни выстрела, ни окрика.

Их не могли не видеть, но их не видели. Вязкий, нездешний, приторно-африканский морок покрыл поле, дорогу, немчуру, хлопощущую возле увязшего во времени «хеншеля». Женщины и дети растянулись цепью по всему полю. Матери устали, они стремились к опушке из последних сил, держа малых своих кого на руках, кого за руки. И шествие то казалось траурным и вечным. Лёгкие мишени для опытного стрелка. Но лишь когда последние, оставшие оказались в тени крайних деревьев, хлопотливые автоматные очереди посшибали снежные комья и шишки с сосен.

Погони не было. Приказ есть приказ: в лес не соваться. И потому немцам только и осталось, что:

*...Ich glaube, die Wellen verschlingen  
Am Ende Schiffer und Kahn;  
Und das hat mit ihrem Singen  
Die Lore-Ley gethan.*

Но кикиморы и ундины, ледяные девы лесов и болот не тронули брызги человеческого рода.

Университетские приятели Егора Андрею сперва не понравились. Не то что случились они какими-то особо скверными. По своей воле сюда дурные люди не приезжают. Виделись парни Андрею для этих мест чересчур уверенными, щедрыми на обещания, слишком шумными. Север в таких не верит. Но когда в Кожиме грузились в борт, когда эти городские первым делом схватили обсадные и потащили к вертолёту, а потом обливались потом и в тщетной попытке согнать гнус крутили шеями в разрезах энцефалиток, вдруг, как тут говорят, показались. «А ленинградцы – молодцы, – подумал Андрей. – Только оттягав ящики с коронками, взялись за своё. Понимают, что и как, значит, нормальные мужики».

Андрей указывал, какие трубы брать, какие оставлять. Его кадры, помбур и бич-сезонник, накануне перебравшие портвейна, дышали кислым, обливались потом, но пыхтели наравне с остальными. Все вчера выпили лишка. Ленинградцам простительно, те неделю проторчали в балках в ожидании борта, а своим Андрей такие вольности не позволял. В шесть тридцать утра растолкал обоих и погнал купаться.

– Фашист!

– Тебя бы, Англичанин, самого вначале напоить, а потом в мокрую и холодную воду! Гадина ты пскопская, скобарь! – ворчал Трилобит.

Он уже третью смену работал с Андреем. Алимов взял к себе помбурами двух пионеров, бывших Андреевских соседей. К осени Тербянко планировал дать каждому по буровой, если Алимов аттестует.

Ледяная вода Кожим-реки привела мужиков в чувство, но к десяти часам, когда подали под загрузку первый борт, оба уже плыли. Не то укусу в кровь пошёл, не то где нашли похмелиться. Второе Андрею казалось более вероятным.

Ленинградцы среди прочего скарба грузили тридцатилитровую алюминиевую флягу с дыркой в крышке, такие здесь используют, чтобы гнать самогон из конфетной браги. Наверное, в другой раз он бы и волновался, напридумывав беду, но не сейчас. Начальником партии у геофизиков ехал Фёдор. А Фёдора в ВоГЭ уважали так же, как Тербянко. Был он хоть из Ленинграда, но родился в Сыктывкаре, с детства в этих местах, вначале горный техникум, потом Ленинградский университет. Кандидат наук, назначен заведующим сектором. Десять лет уже гоняет

партии от Райиза до низовьев Усы на алмазы. Дейнега говорит, что и диссертация у Фёдора про алмазы Полярного Урала. Никто, конечно, тех алмазов на Гряде не видел, но признаки есть, министерство деньги выделяет, значит, работы ведутся. Шурфовики показывали Андрею в промывках оливин. Да и все сопутствующие находят. А если ищут, значит, рано или поздно найдут, это Андрей себе давно уяснил.

Фёдор со своими крут. В поле у него дисциплина, пьянство только по личному разрешению и в период магнитных бурь, похмеляться, если не праздник, запрещено. Андрея судьба уже дважды сводила с Фёдором на одних точках, когда первый год работал он помбуром у Алимова. Они в тот сезон друг другу понравились. Фёдор был старше лет на пятнадцать, но возрастом и должностью не кичился, к буровикам относился со всем положенным в этих местах уважением. А полагалось буровиков считать за местных. Все остальные – пришлые. Буровики, с их тяжёлым железом, горящим солидолом и грохотом, считались за коренных. Да и по геологическим правилам называлось это всё «заверочное бурение», то есть метод самый дорогой и окончательный. Если нет ничего в керне, значит, так тому и быть, пусто. Если нашли что, трать, государь, миллионы, прокладывай дорогу, копай. Сто раз цифры нарисуй, двести шлихов намой, пятьдесят шурфов заложи, а без бурения ничего серьёзного тут не начнётся. «Танковая конница маршала Тербянко» – так Фёдор их называет. Глупость, конечно, но приятно.

Борт загрузили под самые переборки. Геофизики накидали поверх всего досок, последней закатали бочку с керосином и два газовых баллона. Бортинженер, стоявший поодаль, несмотря на жару в кожаной лётной куртке, и наблюдавший за погрузкой, покрутил над головой рукой, показывая, что пора «закругляться». Двое ленинградцев, Борода и Иван, приятели Дейнеги, тащили с дальнего края вертолётной площадки каркас панцирной кровати, заметив, что лётчик закрывает люк, припустили бегом, но каркас не бросили.

– Аспиранты, бросьте к чёртовой матери этот металллом, зачем он вам? – перекрикивая шум винтов, увещевал ребят Фёдор.

Но парни минуту препирались с бортинженером, наконец тот махнул рукой и показал на пассажирский люк. Каркас загрузили через него, к неудовольствию всех остальных.

Пилот запустил винты. Андрей и Фёдор, оба пригибаясь и придерживая на голове брезентовые фуражки, обежали вертолётку, проверяя, не забыли ли что важное, и последними забрались на борт.

Андрей любил момент взлёта. Ему нравилось, как огромная машина, похожая на раскормленную тетёрку, поднимается, чуть наклоняется вперёд и вот уже мчится, едва не задевая верхушки подлеска, разворачивается над руслом Кожима и устремляется вперёд, прочь от Уральского хребта. И внизу – то тёмные пятна озёр, то рыжие проплешины болот, то зелёные поля карликовой берёзки, то тёмно-изумрудная тайга. Внутри трясет и грохочет так, что не слышно, что говорит Фёдор, показывая пальцем в иллюминатор.

Их высадили первыми, на Заострённой, рядом с буровой, которую он, пустив вперёд вездеход, пригнал сюда по лесоустроительной просеке в конце прошлой вахты. Андрей со своими выгрузили личные вещи и продукты, полученные на складе, пожали руку геофизикам, с которыми предстояло вновь встретиться через месяц на Шарью, и, отбежав к балкам, присели на корточки, ожидая, когда поднимется борт.

Припустил дождь. Тяжёлые капли превращались в пыль под лопастями винта. Огромная, дышащая керосином машина чуть поднялась над березкой, и вот уже пилот лихо погнал её вдоль просеки лесоустроителей вниз к реке. Дождь быстро залил шум вертолёта, и лишь единожды отпрыгнуло эхо хрусткий рокот двигателя, отразив от дальних отрогов реки.

В балке оказалось натоплено. В изголовии нар стоял синий «Ермак» Дейнеги. Значит, приятель пришёл пешком от Алимова. По технике безопасности такие переходы запрещены, но Тербянко иногда закрывал глаза на разные нарушения инструкции. Дейнега, хотя и был молодым специалистом, уже считался хорошим геологом. Человек он осторожный, вдумчивый, потому его любовь к одиночным маршрутам с отбором проб по собственному плану можно и поддержать. Если между точками удавалось проложить маршрут почти по прямой, если не встречались пойменные болота или не нужно было форсировать Усу или Печору, Дейнега всегда шёл пешком. Свои вещи он посылал с бортом или вездеходом, а сам отправлялся налегке, с аккуратной самодельной палаткой из каландра, вот этим синим капроновым «Ермаком» на дюралевом станке,

под которым крепился аккуратно свёрнутый пуховый спальник. Иногда он выходил на новую точку дня три, успевая описать до двух десятков обнажений, перейти несколько водоразделов, заночевать и проснуться под солнцем наступающего полярного дня. Перед сном он ловил хариуса на блесну-вертушку в ямах, взрезал ему брюхо, засыпал крупной солью из пластиковой банки из-под иностранных витаминов с плотно закрывающейся крышкой и ел уже через пять минут после засола. Дальше он разводил аккуратный костерок под чефирь-баком и потом мог часами сидеть недвижно, лишь прихлёбывая от чернозема крепкого грузинского чая, заваренного с листьями дикой смородины и ежевики. Ему нравилось наблюдать за тем, как туман, поднявшийся от зарослей ивняка по берегам ручья, покрывает поле карликовой берёзки на другом берегу, чтобы окрепнуть и плотной паутиной вползти под тень елового мыска, от которого до самой Усы начиналась тайга.

Пока Трилобит с бичом-сезонником разогревали сваренный Дейнегой суп, пока, хоронясь от Андрея, аккуратно опрокидывали из чашек выпрошенный у геофизиков разведённый спирт, распогодилось. Андрей курил на нижней ступеньке балка, как он это любил, положив локти на ступеньку повыше, вытянув одну ногу в туристском башмаке пяткой вперёд, а другую подобрав под себя. Так у него переставала болеть сорванная на зоне спина. Из карманного «Альпиниста» звучала джазовая музыка, передаваемая на коротких волнах не то шведской, не то норвежской радиостанцией. Поперёк комариному гуду, не стихающему даже во время дождя, вкручивались в сочный летний таёжный воздух трубы лихого оркестра, снимая с этих мест древнее заклятье белоглазой чуди, подтрунивая над здешней тайгой со своего уютного заграничного далёка.

Внизу на просеке показался Егор. Его полинялая красная шерстяная шапочка, которую он ещё со студенческих времён носил и в жару, и в холод, мелькала между кустов ивняка. Приметив Андрея, Егор поднял над головой раздувшийся от рыбы рудный мешок из грубой брезентовой ткани.

– А я не успел, – закричал он ещё издали. – Пошёл за рыбой. Думал, вы к вечеру прилетите. Солнце с самого утра, горы открыты.

Андрей встал и поприветствовал ладонью, сжатой в кулак, «Рот Фронт», как было принято между друзьями.



– Услышал борт, бросил снасть, но пока на этот берег перешёл, смотрю, летит уже, разгрузился. Я ему рукой помахал, он круг сделал, показал, что меня заметил.

Дейнега, запыхавшийся, улыбающийся, похудевший, обросший кручёным чёрным волосом по всему подбородку, дошагал до балков и кинулся обниматься с Андреем.

– Моих-то видел? Как тебе? Орлы же? Ну скажи! Орлы?

– Орлы, – заулыбался Андрей, – нормальные мужики.

– Да они золотые! Ты даже представить себе не можешь, какие они золотые. Они на курсе лучшие были. Что Борода, что Иван, что Кеша. Это же академики будущие. Наука, брат! Наша наука! – Егор улыбался, хлопал комаров на шее, снова улыбался и казался Андрею старше своих лет. Они не виделись два месяца, на прошлую точку к ним приезжал другой полевой геолог. За эти два месяца Егор как-то высох, кожа плотно приклеилась к покрытым курчавым волосом скулам, глаза посверкивали азартом.

– Родственник! Как же, чертяка, рад тебя видеть! Ну, как ты там? Как Варвара? Как Дашка?

Варвара родилась в апреле. До этого был самый тёмный и морозный январь девяносто первого года, когда по всей Инте то и дело отключалось электричество. Дарья мёрзла, газа в дома подавали ровно столько, чтобы хватало нагреть кастрюлю воды, да и то, если накрыть крышкой. Андрей с Витькой съездили в автопарк, где им за стандартную бутылку сварили печку, такую же, какую устанавливали в балках, из толстого чугуна. Они, пыхтя и чертыхаясь, втащили печку на этаж, а потом, под причитание Наталки, Витькиной жены, вынули форточку и установили на её место раму с жестянкой, через которую вывели наружу трубу. Затопили. В комнате почти сразу стало тепло. Впервые за неделю Дарья сняла с себя шубу.

В апреле Дашу позвали на тридцатилетие «девятки», школы, которую она оканчивала. Должны были приехать многие одноклассники, которых судьба раскидала по всему Союзу. Но в субботу, за день до праздника, на тридцать шестой неделе неожиданно начались схватки, и Андрей, не дожидаясь скорой, разбудив среди ночи соседа, отвёз жену в родильное отделение.

– Это ты пешком переходила, растрясла, – говорил Андрей, поглаживая на заднем сидении Витькиного жигулёнка руку жены.

По улице Горького, где была Дарьяна школа, перестали ходить автобусы, да и вообще всякий транспорт. Городские власти, наверное, насмотревшись на Арбат в Москве, ни с того ни с сего решили сделать центральную улицу пешеходной.

– Андрюшенька, не ругайся. Всё нормально, – Даша была бледна и испугана.

Варька родилась почти через сутки, вечером. Дежурный врач и акушерка приняли роды, укутали ребёнка в одеяло и принесли в палату.

– Мамочка, ребёнок с вами будет. Давайте грудь. Меняйте подгузник, – сказала медсестра и ушла домой.

Варя осталась в палате одна с ребёнком. Других рожениц в отделении не было. В тот год здесь почти не рожали. Свет отключили в половине десятого. Горячая вода пропала ещё раньше. В котельной случилась авария. Дарья потом рассказывала Андрею, как в отчаянье и полной темноте мыла Варьке попку под струйкой холодной воды. Но всё обошлось.

Андрей в это время сидел в гараже у Витьки и пил водку, настоенную на золотом корне.

– Ты можешь быть трезвенником, можешь быть хоть председателем общества «Трезвость», но если у тебя родился ребёнок – будь добр кирнуть. Иначе это всё не по-людски, – сказал Витька, снял с вешалки кожаную кепку Андрея, полушубок и подтолкнул приятеля к выходу. – Пошли ко мне в гараж. Там самое место.

В гараже у Витьки действительно было уютно. Топилась печь, на печи в сковородке шкварчала картошка на сале, от автомобильного аккумулятора играл магнитофон «Электроника».

«Et si tu n'existais pas, – пел Джо Дассен. – Dis-moi pourquoi j'existerais? Pour trainer dans un monde sans toi, Sans espoir et sans regrets?» – в который раз спрашивал шансонье.

Витька достал из стенного шкафчика две хрустальные рюмки и поставил на стол. Потом из того же шкафа выудил стальной геологический термос, а из него палку твёрдокопчёной колбасы.

– Это от крыс, так не доберутся, – предвосхитил он вопрос Андрея. – Кстати, колбасу твой Дейнега из Сыктывкара привёз.

Витька открыл багажник, покопался в нём и выудил банку консервированной морской капусты и буханку серого интинского хлеба.

– Вот, сейчас нормально посидим, по-человечески. Человек родился, надо его встретить как человека. А то заперся там у себя в доме, сидишь как сын. А надо не сидеть, надо радо-

ваться, надо праздновать, надо пить за ручки, за ножки надо пить, за глазки, за носик. Ножки-ножки. Побегут эти ножки по нашим дорожкам. По Инте побегут. По Северу побегут. Давай. Давай!

К обычному Витькину балабольству добавилась неожиданная сентиментальность. Витька разлил по полной рюмке. Они выпили.

– Я, Англичанин, тебе так скажу. Вот сейчас ты стал своим. Детка родилась, теперь наш. Теперь детка будет в наш садик ходить, в который, вон, Наталка и Дарья твоя ходили. Потом детка пойдёт в школу, которую Наталка и Дарья оканчивали. И это значит, что ты, её отец, – наш мужик, интинский.

Логика соседа не показалась Андрею безупречной, но они снова выпили. Витька поставил сковородку между ними и положил перед Андреем вычурную серебряную вилку и такой же нож.

– Откуда такое богатство? – удивился Андрей, разглядывая вилку.

– От папани Наталкиного, – рассмеялся сосед, – в управлении работал. Подношение чьё-то. Всё, что и осталось, ну и рюмки, конечно. А может быть, всё, что и было. У мамы там ещё картинки какие-то в рамках, но дрянь, а не картинки, навряд трёх медведей Шишкина. А это вот, – он покрутил в пальцах ножик, – да ещё и сервис – это нам на свадьбу мамаша отдала. Наталка их не любит, говорит, тяжёлые. А мне нравится. Вот, держу в гараже для особых случаев, если какой гость зайдёт. Ты – сегодня особый случай.

– А дочка – это хорошо, – вдруг рассмеялся Витька. – Дочки, как говорится, это для папы. Для папы что надо? Чтобы его седины коснулась девичья рука. Сын – что?

– Что? – переспросил Андрей.

– Сын – это не кроссинговер. Вон, как я да ты. Сын вырастет и убежит за своими бабами на край света. А дочка всегда рядом будет, так что ты тут молодец.

И вдруг, ведь два года как не мучило, как перестало, вспомнились ему глаза Алёнкиной матери на суде.

Вот сидит Слепнёва, покачивается из стороны в сторону и что-то шепчет. Он не мог слышать, что она шепчет, не мог, но слышал. Через людское дыхание, через скрип стульев и голос судьи, зачитывающей обвинительное заключение, слышал он, как та повторяет: «Алёнка. Алёнка. Алёнка».

– Как ты жить теперь с этим будешь, убийца? – это не она. Это кто-то другой крикнул.

– Мало! Мало три года! Мало ему!

И снова тот злобный ветерок, который из щели кунга забрался под воротник и засвербил в носу слезой и солью: «Мало!».

– Назвали-то как?

– А? – очнулся от своих мыслей Андрей, – Алёнка.

– Как? – переспросил Витька.

– Варвара. Варя.

– Хорошее имя, – одобрительно кивнул Витька. – Давай теперь за глазки Вари, чтобы видели только хорошее.

Выпили за глаза, за носик, за пальчики. Витька достал второй литр. Андрей хмелел медленно, но тяжёлым, нерадостным хмелем, приличным для поминок, а не для праздника.

– Ты что-то косеешь, сосед. А ну-ка я тебе сейчас нашего чайка налью, – Витька покопался на полках, нашёл жестянку с травяным сбором, насыпал в чайник, жажнул кипятка из чайника, уже час сипевшего на печи.

Горькая, дурманящая жидкость растянула скулы Андрея в гримасе.

– Что это за гадость? – сморщился он.

– Всё от природы: тысячелистник, чабрец, полынь, ну и так, всякой ерунды. Мать делает, называет «наш чаёк». Она этим почки лечит. А я заметил, что трезвею от этого её «чайка» в момент. То ли от горечи, то ли от каких полезных витаминов, но трезвею. Правда, если много такого выпить, сердце потом стучит.

Хмель действительно отпустил Андрея. Он пошкрябал вилкой в сковороде, ещё хлебнул отвара и засобирился домой. Они попрощались. Витька остался прибираться и выгребать из печки угли, а Андрей вышел на воздух. Электричество в районе дали. Горели окна, и в ночном небе ярко светилась очерченная прожекторами водонапорная башня. Вместо того чтобы идти домой, он пошёл к больнице. Где находится родильное отделение, Андрей не представлял. Дверь приёмного покоя оказалась закрыта. Андрей пошёл по ледяной скользкой дорожке вдоль корпуса, заглядывая в окна первого этажа. В одной из палат он увидел девочку, сидящую на кровати, обхватив колени. На девочке был застиранный байковый халатик, который был девочке явно мал. Девочка сидела и смотрела в одну точку. Над ней горела лампа дневного света.

Андрей остановился и почему-то помахал девочке рукой. Девочка заметила, улыбнулась и тоже помахала Андрею.

Июль выдался спокойный. Выставили устье скважины и забурились ещё на прошлой вахте, пройдя первые двадцать метров. Стояла жара, потому запускали установку в шесть утра, ещё до сеанса связи. Станок работал без обычных сбоев. Осадочный чехол проходили быстро. Егор в это время готовил завтрак на всех. После завтрака у тайги было полчаса тишины, пока работала рация. Потом вновь начинали бурить. Через каждые семь метров проходки Андрей осторожно, стараясь не допускать рывков, поднимал трубы, Трилобит отсоединял замки, потом они с рабочим укладывали колонну на землю. Трилобит аккуратно ударял молотком по кольцу, поэтому на керноприёмник, то и дело крутя последний. Керн соскальзывал вниз по трубе, и его укладывали в ящик.

Дейнега устраивался на складном брезентовом стульчике перед ящиками с породой и заполнял полевой журнал. Иногда он стучал геологическим молотком по керну, доставал кусок, разглядывал его вначале просто, поворачивая в руках, потом вставлял в глазницу часовую лупу и смотрел через неё. Часовая лупа – это было его собственное изобретение. Остальные геологи ходили с огромными складными линзами. Он клал вдоль ящика самодельную линейку-метр, сделанную из дранки, с нанесёнными на ней делениями, и толстым фломастером размечал керн на равные промежутки, маркируя отдельные куски по номеру скважины и глубине. Если слой, по мнению Дейнеги, оказывался интересным, он отбирал образцы через каждые тридцать сантиметров керна, наклеивал бирку из толстого медицинского пластыря и помещал в отдельные пакетики, которых каждый вечер сворачивал великое множество из крафтовой бумаги.

Когда начиналась самая жара, Андрей оставив работу и отправлял мужиков купаться. Оставив Егора над очередным ящиком, сам забирался в тень от балка, обматывал голову смоченной в воде футболкой и пару часов читал, потом час спал тут же, закутавшись в брезент. Будили его мужики, вернувшиеся в лагерь. Они всякий раз приносили несколько крупных хариусов, которых сразу заворачивали в холстину с солью и прикапывали под балком. Обедали тем, что осталось с завтрака, и вновь запускали установку, бурили до десяти вечера, до вечернего сеанса связи, а потом ещё до часа ночи, когда, уложив по

ящикам последний керн, глушили станок, умывались по пояс под рукомойником и садились ужинать. С Егором они успевали больше, он ежедневно брал на себя обязанности повара, и не приходилось отряжать для этого Трилобита. Сергей Сергеевич готовил отменно и доверял кухню только Егору. Бичи же на вахтах допускались лишь до мытья посуды. Когда Егору удавалось подстрелить тетерева или глухаря, готовил Трилобит. В такие дни Андрей заканчивал смену вдвоём с рабочим. Трилобит же ощипывал и потрошил птицу, набивая её внутренности размоченными сухофруктами, обмазывал перцем и солью, потом уходил к реке, в специальной закапушке набирал глины, возвращался и обмазывал тушку целиком. Когда глина чуть подсыхала, Сергей Сергеевич раскидывал угли заранее разведённого костра, клал туда птицу и вновь зарывал в угли, набросав сверху ещё тонких сухих прутиков. Потом следил, чтобы огонь лишь чуть теплился. Через полтора часа он разрывал костёр, доставал крепкий раскалённый глиняный кокон, укладывал на жестяной поднос с нарисованными цветами и ставил в середину стола. Покончив с птицей, он переодевался в рабочее и шёл к бригаде вынимать последний за сегодня керн.

32

Ночами, которые в июле на Приполярном Урале мало отличаются от дня, Андрей спал плохо. И даже не от жары, жара немного спадала, не от солнца, приходящего в окно балка уже в три часа ночи, для того восточное окно и закрывалось картонкой. Всё чаще, проснувшись, потревоженный криком птицы или от собственного худого сна, садился на ступеньках балка и курил, дожидаясь пяти утра, когда будет прилично шуметь паяльной лампой, кипятить на треноге воду в кастрюле, чтобы закинуть внутрь содержимое пары банок консервированного рассольника на обед и гречневую крупу на завтрак.

Андрею не спалось. Всё чаще и чаще думал он о злополучном дне, когда случилось в его жизни страшное, что теперь мучило, заставляло шептать неумелые слова молитвы, когда никто не видел и не слышал. Он представлял Алёнку, дочку Слепнёвой, ровесницу его сестры, её же одноклассницу... Представлял её выросшую, окончившую, как и его сестра, школу и уехавшую учиться в город. Он пытался вообразить, как она выглядела бы сейчас, что носила, как стриглась.

– Девицы, – говорил он Лизке и Алёнке, возвратившись из школы и застав подружек, разбросавших по всей комнате лоскутки и катушки

с нитками, – когда уже настанет в доме порядок? Лизавета, у нас один стол на двоих только потому, что некуда поставить второй. Можно не занимать его под всю эту фигню?

Девочки смеялись, быстро собирали своё шитьё и убежали в родительскую комнату. На пороге Алёнка, или Лизка, или они обе поворачивались и показывали Андрею язык. Он грозил им кулаком, хмурил брови, но, только они скрывались за занавеской, улыбался. Он любил сестру. Да и злился понарошку, словно просто для того, чтобы призвать мелюзгу к порядку.

Он катал подружек на мотоцикле, возил на Хмерское озеро купаться. Однажды Алёнка наколола ногу стеклом, какой-то дурак разбил бутылку на пляже и оставил, не собрав осколки. Он нёс её на руках до дороги, где в тени орешника у ограды кладбища он оставил свой «Минск». Алёнка плакала, обхватив его шею руками, а Лизка, его Лизка бежала рядом и повторяла: «Не плачь, пожалуйста, не плачь». Слепнёвой дома не оказалось, и Андрей, напустив на себя уверенный вид, залил перекисью рану, а потом, прокалив на конфорке пинцет, вынимал из ранки зелёное бутылочное стекло.

– Всё хорошо, девочка! Всё уже хорошо.

Как случилось, что в толпе вышедших на воздух из клуба Алёнка оказалась с краю? Как случилось, что рядом не было его Лизаветы? Как вообще могло сделаться так, что он пустил Людку на водительское место? Почему он не крутанул руль на себя, чтобы свернуть с дороги и затормозить о столб или в забор Ермаковых? Ведь за мгновение до удара он понял, что столкновение не избежать. Почему не сделал этого?

Не было никакого замедленного кино. Это сейчас могло казаться, что вечность прошла с мига, как Людка нажала на акселератор, до того, когда он закричал: «Тормози!», а потом ещё вторая вечность до удара. Людка с перепуга вместо тормоза жала на сцепление и одновременно газ. Машина не остановилась, а лишь взревела на отпущенном сцеплении. Всё быстро. Асфальтовая дорожка от поворота до клуба. Чья-то белая рубашка, глухой удар, потом ещё один, уже не такой сильный, и крики. Машина проскочила дальше, и только у пожарки Андрей крутанул руль и отправил «москвича» в кювет. Он выскочил из кабины, выбрался из канавы и рванул к клубу. Навстречу ему уже бежали. Его схватили за рубашку, за руки и потащили за собой. Никто не понял, что он не сидел за рулём. Впрочем,

какая разница, кто сидел?! Это был его автомобиль и его вина. Только его.

Когда подвели, девочка уже не дышала. Чуть поодаль на земле сидел незнакомый мужик, чей-то родственник, обхвативший руками голову, в испачканной белой рубашке. Женщины с остервенением набросились на Андрея. Закричали. На его голову и спину сыпались удары. Те, что держали его, наконец отпустили, и вот уже он почувствовал ярость мужских кулаков. Кто-то со всей силы толкнул его ногой в спину, Андрей упал. Он не защищался, только, сам того уже не желая, прикрывал голову руками.

И сейчас, на ступеньках балка, обхватывал ладонями голову, словно старался защититься от воспоминаний. Вскрикивала северная птица. Андрей смотрел на часы, вздыхал, поднимался и шёл за водой на водораздел к ближайшей болотине. Возвращался с двумя полными ведрами, ставил кастрюли на решётку и треногу. Он отмерял положенное количество гречневой крупы, забрасывал в кастрюлю. Откручивал тугую пробку паяльной лампы и аккуратно, чтобы не расплескать бензин, лил тоненькой струйкой в маленькую железную воронку. Слепни кусали в шею и руки. Потом накачивал насос паяльной лампы и вставлял её в раструб треноги. Эти простые действия успокаивали. Просыпались мужики. Из балка появлялся Егор с приёмником в руках, вешал его на опору навеса кухни, долго крутил ручку, настраивая на новости.

«Радиостанция «Голос Америки» на коротких волнах, – разносился над тайгой бодрый голос из-за океана. – Вы можете слушать наши передачи на частотах...» Закипала и начинала пыхать под крышкой каша. Трилобит закуривал «Астру» и, не вынимая сигареты, брился перед маленьким карманным зеркалом, прислонив его к алюминиевой миске. В этом сезоне он отращивал шкиперскую бороду.

Каждый день было так. Только воскресенье считалось полувыходным, вставали поздно, в половину седьмого, а бурили только до обеда. Вообще, несмотря на жару, работа спорилась. Они уже сделали больше, чем планировали, и Андрей подумывал, чем чёрт не шутит, авось удастся закончить проходку и заактивировать скважину уже на этой вахте. А если повезёт с бортом, сможет он побыть с женой и дочкой две недели вместо одной.

Трилобит, видя, что Андрею хочется к жене и дочери, старался пуще обычного, гонял и рабочего.

Сезонник, как и Сергей Сергеевич, был из старых теребняковских кадров, но неездешний. Каждую субботу приезжал он в Инту из Салехарда, с той стороны Оби. Немногословный сорокалетний мужик, тоже бывший сиделец. Звали его по-староверски Митрофан, но имя со временем сократилось вначале до Мифы, а потом и до простого Миха. Был он мужик честный, но неторопливый, с ленцой, что для северов в рамках приличий. Больного не корчил, от переработок не ныл, но делал только то, что скажут, и не движения больше. Говорил мало, разве что по делу или только если считал нужным. Для бывших зеков, особенно тех, у кого сроки набиралось больше двух, это считалось нормальным. Сидел Миха трижды. Первый раз – коротко, год, а потом как рецидивист уже по три. Всякий раз отправлялся он по этапу за одно и то же: избивал смертным боем отчима, ломал о спину тому то черенок от лопаты, то просто палку. Отхаживал ногами, да так, что того отправляли в больницу, а Митрофана везли на суд и опять на зону. Доставалось отчиму за непочтительное и грубое отношение к матери. На зоне Миху уважали. Он бы и в очередной раз угодил, но Божьим промыслом отчим помер сам, украв у матери зарплату и перепив самогонки, пока Миха отбывал третий срок. С тех пор прошло уже десять лет. Был Миха на хорошем счету у Теребянко, который на вопрос кадровички каждой весной приказывал: «Оформлять».

Выглядел Миха примечательно, таких тут называли «чудики» или «чума». На голове – копна рыжих, расчёсанных на прямой пробор вьющихся волос, очки в замотанной изолентой роговой оправе с толстыми стёклами, из-за которых глаза казались чуть на выкате. В нерабочее время, сняв сапоги, Миха переодевался в чёрные лаковые ботинки, в которых ходил и за грибами, и на рыбалку. Ботинки всегда выглядели новыми. А может быть, Миха просто достал где-то несколько одинаковых пар. Северный завоз непредсказуем.

– Говорят, под Сыней старые зоны расконсервировали, – сказал Миха как-то в воскресенье, когда Егор, споря с радио, вдруг завёл за завтраком разговор о Солженицыне и ГУЛАГе. Егор называл себя демократом и время от времени проводил среди своих политинформацию.

– Что значит «расконсервировали»? – язвительно поинтересовался Егор.

– В «шестёрку», например, привезли пять платформ досок и бруса, поменяли полы в закры-

тых бараках, окна новые вставили. В двенадцатой крыши шифером покрыли, вокруг барakov покосили. Засыпали свежий шлак, вышки новые подняли, на сваях. Дороги грейдером выровняли, гидронм законопатили, – монотонно перечислил Миха и потянулся за томатной пастой, чтобы залить ею накрошенный в гречневую кашу репчатый лук.

– Откуда знаешь? – удивился Егор.

Андрей тоже посмотрел на рабочего с интересом.

– Рассказывают, – Миха размочил армейский ржаной сухарь в чае и теперь обильно посыпал его сахаром.

Все смотрели на него, ожидая продолжения.

– Ну а что тут рассказывать. Лесопилки в Инте и Кожиме под завязку в работе. Весь распил идёт в Сыню. В Сыне на старых фундаментах три офицерских барака построили. Говорят, в Харпе то же самое. Но про Харп сам не знаю, может быть, уже и слухи. А вообще слухи всякие ходят, но по всему понятно, что готовят всё к массовым посадкам.

– Да что ты городишь?! – Егор вскочил из-за стола и выключил приёмник, который потерял волну и теперь громко шипел под брезентом кухонного навеса.

– Какие посадки? Перестройка! Ты понимаешь, что происходит? Пе-ре-строй-ка, – он произнёс последнее слово по слогам.

Миха не ответил, впился зубами в сладкий бутерброд и прикрыл глаза, наслаждаясь.

– Бредятина! Фантазия какая-то, – волновался Дейнега. – Англичанин, ну скажи ему, какие посадки? Какие? Не тридцать седьмой, а девяносто первый! Уже невозможно. Посадки они какие-то выдумали. Ну пусть отремонтировали какую-то зону. Что с того? Надо иногда ремонтировать. Небось, из-за совдеповского раздолбайства там с хрущёвских времён ремонт не делали.

Андрей промолчал. Он вдруг решил, что Егор просит его поучаствовать в споре не как друга, а как бывшего осуждённого. И это ему не понравилось, показалось обидным.

Надо сказать, до Андрея ещё с весны доходили слухи о «расконсервации». Вдруг появилось это слово. Странное, непривычное для этих мест, опасное, как всё незнакомое. Слово-захватчик, сразу заполнившее собой разговоры на кухнях и в очередях, казённое, будто из некоей бумаги, директивы, указания: «Расконсервация».

Ходили слухи о новой железнодорожной ветке, что размечали от Сыни на запад, под углом

к существующей узкоколейке на Усинск. Дескать, видели в тех местах несколько бригад топографов, не приписанных ни к рудуправлению, ни к ВоГЭ, ни к лесоустроителям.

Сложно сказать, что было правдой, а что фантазией. Но в самой Сыне ремонтировали котельную. От пилорамы, где Андрей покупал доски для семейного ложа, раз в два дня громыхал до шахты жестяными бортами гружённый досками КраЗ, там стояли под погрузку железнодорожные платформы. В гостинице рудуправления с апреля поселились офицеры. Они ходили по городу в повседневной форме с чёрными погонами и лычками инженерных войск, но никто не сомневался, что это войска МВД, новая лагерная охрана, а чёрные погоны у них, «потому что секретность».

Начальник кожимского склада воркутинской экспедиции Вадим Соломонович Резин, худой и скользкий, как густера, ещё из гулаговских, легенда и персонаж здешних анекдотов, отпуская по накладной на бригаду Андрея три коробки тушёнки говяжьей, три коробки тушёнки свиной, сгущённого молока коробку, два пакета сухарей армейских, мешок сахара, два ящика консервированного рассольника, два ящика борща, шесть кило конфет «Коровка», коробку печенья «Юбилейное», коробку супа сухого «Сборный», шестнадцать пачек грузинского чёрного байхового, первый сорт, Рязанской чаеразвесочной фабрики номер два, сплюнул в пузырящуюся пыль и, глядя куда-то в сторону рудника, проскрипел-проскрежетал шестернями кадыка, выдавив меж своих железных зубов: «Дрянь опять удумали. Всё неймётся». Андрей вроде и понял, про что говорит Соломоныч, а значения не придавал. Какая разница? Его не касается, а и без того сна нет.

Про Соломоныча поговаривали, что служил он не то начальником лагеря, не то большим чиновником в системе ГУЛАГ. Однако оказалось это всё фантазией интинских вахтовиков. Как-то Андрей разговорился со стариком и узнал, что тот ещё мальчишкой попал на зону из Ленинграда, да так с этих мест и не двинулся. Женился, родил и уже схоронил сына, потом жену. Женился во второй раз, двух дочерей от второго брака отправил учиться в Москву. Они остались в столице, звали к себе. А он прирос к этим местам, где в вечной мерзлоте могилы обеих жён и сына.

Андрей давно заметил, что слухи на северах быстрые, но какие-то бестолковые. В каждом либо страх, либо надежда. Авось, если не рухнет, вот-вот и пойдёт совсем по-другому, наладится

жизнь, увеличат зарплаты, удвоят северные, отколют новую шахту или горную выработку, протнут железнодорожную ветку через хребет от Сыктывкара на Ханты-Мансийск или автомобильное шоссе до Воркуты аж от самой Печоры. Север, некогда гордый, уверенный в себе, богатый, теперь подобно погорельцу заглядывал в рот всякому пришлому начальству. А проку от того начальства никакого. Приезжают болтуны из Москвы и болтуны из Сыктывкара, сгоняют народ на собрания, где столы против привычного почему-то не покрывают красной тканью. Говорят часами про всякое, для этих мест непонятное. Приезжие обещают ненужное, записывают в свои блокнотики вопросы из зала, обещают разобраться и уезжают. Ни имён их никто не запоминает, ни должностей. Но уже на следующий день рождаются слухи, в которых всякий может найти утешение. И людям тут, если есть надежда, всё едино: правда то или какая закука.

Но бродящая промеж бичей и кадров болтовня о расконсервации раздражала. Слух перерос в молву, а Теребянко говорил, что молва во время вахты мешает, снижает выработку. Теребянко в этих вопросах можно было доверять.

– Хватит уже, – Андрей встал из-за стола, оставив миску. – Сергеич, у тебя подъёмный блок не скрипит, а воеет уже. Рабочему пора на буровой быть, десять минут восьмого.

Егор удивлённо посмотрел на друга. Андрей не любил командовать. Старался избегать повелительного тона, стеснялся своего начальственного положения старшего бурового мастера.

Трилобит с Михой ушли. Егор тщательно выскоблил миску и посмотрел на Андрея.

– Ты чего на своих взъелся? Нервный какой-то стал. Ночами не спишь. Случилось что?

Андрей махнул рукой, мол, ерунда, отвернулся от стола, поставил ногу на скамейку и стал перематывать портянку. Пусть и была между ними искренность, однако Егор про аварию знал лишь, что кто-то погиб, а Андрей получил судимость. Знал от жены, та – от сестры, но выведывать подробности у друга не решался – захочет, сам расскажет. Андрей не рассказывал.

Дейнега, видя, что товарищ не в духе, зашёл на буровую, посмотрел, как Трилобит прокаливает на паяльной лампе свечи бурового станка. Вернулся в лагерь, покрутил колёсико настройки приёмника, выкурил несколько сигарет, наконец, собрал рулетку, буссоль, молоток, уложил в рюкзак топор и заготовленные заранее колышки, на-

35

лил в термос чай и отправился к реке размечать площадки под шурфы и канаву.

Андрей ждал связи. На буровой Миха ритмично звякал молотком о замок буровой трубы. То и дело доносился матерок Трилобита, следившего за работой. Гнус, просушивший крылья, гудел уже ровно и монотонно за стенками балка, заглушая рацию. Пусть в эфире было полно народа, однако поисковые партии, буровые, бригады шурфовиков, по неписаному правилу ждали, что заговорит База. Наконец, Кожим «проснулся».

– Сова-три, Сова-три, это База, приём! – сквозь шелест помех раздался голос Теребянко.

– База-База, на связи Сова-три.

Фёдор звучал уверенно, словно станция стояла на соседней опушке, а не в сорока километрах.

– Фёдор Григорьевич, мы к тебе послезавтра, вторник-вторник, как понял?

– Понял тебя, Егор Филиппыч. Как прибудешь?

– Вездеходом от Тёзки с Заострённой.

– Понял-понял, Егор!

– Сова-три, конец связи.

– Сова-девять, Сова-девять, приём!

– Здесь Сова-девять! – Андрей держал танкету «Карата» на вытянутой руке, иначе старая рация начинала коммутацию и переходила на свист и вой.

– Англичанин, завтра жди у себя. Привезу Коробкиных и топографа. Рабочего своему скажи, что на сутки он с топографом, вешку таскает. Как понял? Приём? У Тёзки всё готово?

– Понял, База! Понял. У Дейнеги полный порядок. Личных нет?

– Личных нет, Сова-девять. Твои, Англичанин, здоровы-здоровы, видел вчера. Конец связи.

И то ли оттого, что Теребянко видел вчера Дарью и Варвару, то ли от завтрашнего рейса к ним вездехода с известнейшими на весь Полярный Урал братьями Коробкиными – проходчиками во втором поколении, балагурами и матершинниками – стало вдруг у Андрея на душе легче.

Коробкиных уважали по всей ВоГЭ. Было их три брата, все служили на проходке с юности, переняв опыт отца, который копал шурфы да канавы по низовьям Колымы ещё с сорок четвёртого. Коробкин-отец родился в Печоре, оттуда и призвался в сорок втором на фронт. После контузии под Сталинградом завербовался вольнонаёмным Дальстроя за Обь. Работал по олову. Если бы числился в штате управления, то вместе со всеми получил госпремию, а так только

копил квартальные да посылал мальчишек после шестидесяти пятого через профсоюз на всё лето в Крым, в лагерь «Орлёнок». В конце шестидесятых переехал с семьёй в Инту. А как выросли пацаны, так пристроил их Коробкин к ремеслу. Низкорослые, коротконогие, с широкими грудными клетками, сутулые, длиннорукие, с огромными мозолистыми ладонями. Словно зачатые не русским мужиком и бабой-комячкой, а прямо проросшие из крови горных троллей, чулонской каменной пуголици.

Коробкина-отца Андрей не застал, только слышал о нём рассказы. С братьями же сталкивался регулярно. Давали Коробкины главную выработку экспедиции, всякий раз выполняя и перевыполняя. За сезон получали каждый по красному вымпелу, грамоте и премии. Грамоты сдавались матери, которая вкладывала листки в огромный обшитый бархатом альбом, а вымпелы вешались в общий их сарай, в котором без движения третий десяток лет стоял отцовский автомобиль «Победа». Автомобиль был в полном порядке, регулярно заводился, аккумулятор на зиму относился в тепло, но права братья не получили, потому дальше, чем до конца гаражей, машина не двигалась. Все трое почти не пили, хотя по-прежнему случайный пришлый человек на их красные, обветренные лица, да что там лица – рожи, образины, так и подумает: «Колдыри!».

Но четыре раза в год Коробкины позволяли себе выпить и изрядно – на Новый год, на день рождения отца (в марте), удивительным образом совпавший с днём смерти Вождя всех народов, на День шахтёра (в конце августа) и на День Конституции (в октябре). Ещё в армии привыкли они, что День Конституции – большой праздник, когда в столовую и из столовой ходят не в ногу, выполняя команду «сбить шаг», приветствуют офицеров не отданием чести, а кивком головы. В этот день во всех воинских частях и гарнизонах огромной страны не по уставу, а по традиции разрешалось солдатам-срочникам вспомнить, что они граждане, равные в правах с офицерами, и государством любимые дети. Потому и был тот день праздником свободы и радости, в столовой на ужин давали не жареную селёдку, а хека или треску, а после ужина показывали кино про Зорро.

В марте и октябре Теребянко специально приезжал на точку, где копали в этот момент Коробкины, чтобы своим присутствием вселить в братьев уверенность и покой, что начальство безобразий не допустит, потому и чинить их

не надо. А вот День шахтёра братья встречали в городе и гудели вместе со всей Интой, однако под контролем жён и матери.

В конце октября Андрей пригласил братьев Коробкиных на свадьбу. Коробкины пришли, обёрнутые в новые полусинтетические костюмы, как в целлофановые пакеты, в белых рубашках, из которых торчали тёмные жилистые шеи, и при галстуках. Сунули, стесняясь, молодым в руки подарки в плотной красной бумаге, перевязанные шёлковыми лентами.

– На эта, ёксель-моксель, Англичанин. Андрей и Дарья то есть, с праздником вас, – не то хором сказали, не то каждый слово в слово повторил.

На свадьбе к спиртному не притрагивались, хотя Витька, раздухарившись, всё порывался налить, больше молчали, даже когда все кричали «горько», только улыбались и, когда начались танцы, аккуратно покачивали своих жён «под итальянцев». Теребянко усадили во главе стола, на почётное место, рядом с родителями Андрея, говорил он главный тост, долгий и серьёзный, в котором было и про молодых, и про работу, и про Север, и «про патиссоны». Тост был похож на речь, и если бы в конце сам Теребянко не гаркнул: «Горько!», гости принялись бы аплодировать.

Платье на свадьбу заказывали в Воркуте в ателье. Шили по выкройкам из польского журнала мод. Выбиралось оно с расчётом, чтобы скрыть округлившийся живот невесты.

– Ты что, дурища, краснеешь? – шептал Андрей в ухо Дарье, когда они танцевали танец молодожёнов.

– Живот виден. Решат, по залёту.

– Кто решит, глупая? Это не про нас. Кто из деревни, ты или я? Ты какая-то строгая.

– Невеста в положении, некрасиво.

Но то ли платье справлялось со своей ролью, то ли гости все были сплошь люди деликатные, то ли действительно никого это тут не волновало. Женятся любящие друг друга люди – и хорошо, и правильно.

Тогда же, на свадьбе, вышел он покурить на улицу, и не то ветром хлестнуло его по щеке, не то злой памяткой, вернувшейся болью.

– Что грустишь, Англичанин? Устал? – Витька в шутку стукнул кулаком Андрею в поясницу, закурил и развёл плечи, разминаясь навстречу ветру. – Эх, весна бы уже поскорее! А свадьбу, как зиму, всегда перетерпеть надо, потом уже нормальная жизнь начнётся, полный кроссинговер.

И этот дурацкий Витькин «кроссинговер» рассмешил Андрея. Он вернулся в ресторан и уже весь вечер отплясывал с Дарьей под «Землян» да Modern Talking, стараясь аккуратно прикрывать живот невесты от случайных толчков. К полуночи свадьба выдохлась. Дейнега, весь вечер говоривший тосты и балагуривший наравне с приглашённым ведущим-тамадой, вдруг уснул, положив руки на стол. Теребянко о чём-то тихо разговаривал с отцом Андрея. Они наклонили друг к другу головы, и отец, как обычно, когда волновался, то брал, то вновь клал на стол вилку. Пионеры, бывшие сокурсники Андрея, обнявшись с одноклассниками Дарьи, перетаптывались под медляки в центре зала. Рядом в одиночестве самозабвенно выкручивал странные танцевальные па Витька. Со своей кучерявой головой, в расстёгнутом чёрном пиджаке, с рубашкой, выпроставшейся из-под брючного ремня, он был похож на циркового пуделя, позабытого дрессировщиком в кабаке и выполняющего какой-то однажды заученный номер. Он то поднимал обе руки, то вдруг словно отталкивал кого-то, то вдруг принимался кружиться на месте, задрвав подбородок и прикрыв веки.

Наталка сидела тут же, повернувшись спиной к столу, и смотрела на мужа. На соседнем стуле примостился изрядно нетрезвый директор училища, Борис Борисович. Он что-то рассказывал, то и дело отирая лысину ладонью.

– Как напьётся – дурак-дураком. Смешной же, – кивнула Наталка на мужа, когда Андрей сел рядом и налил себе в стакан сок.

Андрей улыбнулся.

– Краснов, ты у меня лучшего сотрудника увёл. Точнее выражаясь, – директор срыгнул, прикрыв рот рукой, – сотрудницу. И вот декрет теперь, потом ещё декрет, потом ещё. Кто работать будет?

– Наталья Михайловна, идите к нам работать библиотекарем! – директор вдруг обнял Витькину жену за талию и придвинулся ближе. – Вы уютная женщина, всё у вас правильно, всё ладно. Одевайтесь по моде. Образование не главное, главное – это характер и прилежность. А я чувствую, что вы прилежны.

– А ну-ка, лысый! Руки убери свои! Руки, я сказал!

Витька в два шага добрался до жены и теперь рвал с плеча пиджак.

– Не понял, молодой человек. Вы по какому праву со мной так разговариваете? Вы, собственно, кто такой? – директор поднялся со стула.



– Я тебе, блевота, сейчас объясню права. – Витька наконец справился с пиджаком и схватил директора за галстук.

Откуда-то со стороны гардероба бежали Коробкины, на бегу срывая шапки. Младший, Жека, уже кричал: «Ща я этого таксёра урою!»

– А ну стоп! – откуда ни возьмись возник Тербянко, оттеснил Витьку и заслони́л собой директора.

Наталка уже держала мужа за руку, а тот с красным лицом с шумом выдыхал из ноздрей воздух, словно бы что-то попало в нос и теперь мешало.

– Борис! Нажрался, веди себя прилично! Огрёбёшь, потом бюллетенить станешь. Здесь не училище, здесь на должность не посмотрят, – сказал он, обернувшись и смерив взглядом директора, который застегнул на все пуговицы двубортный пиджак и теперь поправлял галстук.

– А ты мне не начальство, – огрызнулся директор, но чувствовалось, что прыть с него слетела, однако хмель остался.

– Раскомандовался! Я тут вообще по приглашению жениха, лучшего выпускника училища, медалиста. И если какой куртуазности не знаю, то я человек рабочий, сам передовик. И не люблю, когда мне тычут да ещё и грубят. Я Наталье Михайловне должность предлагал в техникуме, вакантную должность. Она как-никак дочь шахтёра, моего товарища, можно сказать. Ныне покойного, конечно. И я чувствую некоторую ответственность за её судьбу как товарищ отца, покойного нынче. Вот молодой человек мне нагрубил, пытался драку завязать, а ты, Егор Филиппыч, вместо того чтобы разобраться, унижаешь меня, выставляешь перед людьми каким-то алкоголиком или, хуже того, человеком неприличным. А у меня двое детей, жена, меня уважают в Сыктывкаре. В конце концов, я член парткома комбината, самой сильной партийной организации в районе.

– Уймись, – коротко сказал Тербянко, повернулся, посмотрел на братьев и жестом приказал им покинуть ресторан. Братья послушно побрели к выходу, где, подобрав широко разбросанные в пылу шапки и шубы, их уже ждали жёны.

Сзади к Витьке подошёл отец Андрея, приобнял его и Наташу за плечи:

– Пойдём, молодые люди, за стол. Надо закусывать. Всё оттого, что выпиваете, а не кушаете нормально. Стол прекрасный, угощения ещё остались. Пойдём, Виктор.

– Пусть сначала извинится за своё хамское поведение, – сказал из-за плеча Тербянко директор.

– А ты чего мою жену лапал?

– Егор Филиппович! Ну посмотри сам! Вот как так можно? Да я же. Она же покойного друга лучшего дочь.

– Лапал! – Витька вырвался из объятий отца Андрея и теперь, сопя, заправлял в брюки выбившуюся рубашу.

– Молодой человек! Виктор, если не путаю, – обратился Тербянко к Витьке, – это недоразумение. Не станем портить праздник молодожёнам.

Андрей всё это время сидел, положив локоть на стол, и смотрел на происходящее со стороны.

Тут он поднялся, оказался выше всех ростом и шире в плечах даже старшего брата Коробкина.

– Пойдём, – сказал он Витьке, – и вы, Борис Борисыч, присоединяйтесь, выпьем мировую. Спасибо обоим. А то действительно, – он прищурился. – Женщины уже волновались, что за свадьба без драки! Теперь традиция соблюдена, поря и закусить.

Все рассмеялись. И после этих слов Андрея сразу стало всем спокойно и хорошо. Пионеры опять обхватили девушек и закачались под музыку, а остальные вернулись за стол.

– Молоток, Англичанин! – Тербянко улыбнулся и протянул Андрею руку. – Способность остановить или не допустить драку – хорошее умение на северах. Уверенность у тебя есть, мощь внутренняя. Продолжай в том же духе. Погоди, мы из тебя здесь начальника сделаем. Умеешь с людьми разбираться.

– С людьми умею. С собой не получается, – ответил Андрей и встретил вопросительный и внимательный взгляд Тербянко.

## 10

В день приезда начальника и Коробкиных буровую запустили в пять утра и уже успели пройти до завтрака семь с половиной метров.

Вездеходчики с ночи гнали машины по тундре, а потом пробирались через проплешины тайги с той стороны водораздела по старой вездеходной дороге, выходящей на просеку. Рыканье двигателей стало слышно во время завтрака. Дейнега вдруг замер, перестал стучать ложкой о дно своей персональной эмалированной миски и поднял палец, призывая к вниманию. Ветер донес эхо перегазовок со стороны Заостренной.

– По реке, что ли, идут? – покачал головой Трилобит. – Странно.

Все знали, что по реке в этих местах вездеход не пройдёт. Каждые двести метров реку бил судорога перекатов и берега сжимались в узкий каньон. Но это было только далёкое эхо, по многу раз отражённое от каменных рёбер гряды. Лишь через тридцать минут, подминая под себя тонкие невезучие берёзки, в трёх сотнях метров от лагеря выбралась из тайги на просеку два желтушного цвета экспедиционных ГТТ и один грязно-зелёный МТЛБ, тот, что тут называли «лягушка» и который считался персональным транспортом Теребянко. Разбрызгивая вокруг себя роскошное рычание двухсотсильных движков, вездеходы по заросшей просеке, что по ровному просёлку, ринулись в сторону балков.

– Торопятся. Вон как дымом пыхают, – проворчал Трилобит, встал из-за стола и отхлебнул какао из алюминиевой кружки с обмотанной изолентой ручкой. – Видать, Филиппыч уже спозаранку водил нахлобучил. Жди, Англичанин, и тебе сейчас прилетит от щедрот начальства.

Сергей Сергеич имел свои особые приметы на все случаи жизни. Казались они на первый взгляд диковинными, но, на изумление Андрея, работали.

Например, если при погрузке харча на складе оказывалось, что сигарет с фильтром хоть закуришь, тут тебе и «Стюардесса», и «Опал», и «БТ», и даже какие-то экзотические корейские с иволгой на пачке, Сергеич качал головой:

– Опять конфет нам не достанется.

И верно, оказывалось, что любимых конфет-подушечек на складе не было, предлагали только засохший, неразгрызаемый «Старт».

Иногда Андрей разгадывал «приметы», иногда парадоксальное мышление Трилобита ставило его в тупик. Иной раз, несколько дней кряду размышляя над странной логикой помбура, он не выдерживал и просил объяснить. Всякий раз Сергей Сергеич поражал.

– А что тут сложного? Сигарет болгарских навезли двадцать коробок, значит, спрос на них будет. А кто их тут курит?

– Кто?

– Кто-кто, – передразнивал Андрея Трилобит. – Геофизики да всякая другая интеллигенция. Сигарет много, значит, не только сыктывкарцы, но и ленинградцы приехали, а у них – самогонный аппарат и фляга тридцатилитровая. На чём они самогон ставят? На карамельках, на

подушечках. Вот и тю-тю подушечки. Тут никакого секрета.

Вездеходы остановились на вертолётной площадке, не доезжая балков, разом заглушили двигатели, чтобы случайно не помять скарб бригады, разбросанный среди кустов карликовой берёзки и гнилых пней.

Когда выключает человек своё шумное и гордое железо, тайга молчит с полминуты обиженно, а лишь потом с яростью жены, у которой муж, напившись на чужие, всю ночь храпит в сенах, обрушивается на человека всем своим гудом гнуса, ропотом верхушек елей, постуками, клёканьем далёкой воды и дребезгом ветра, запутавшегося в антенне радиостанции. И пока не высажет своё, не отбранил, то и не угомонится.

Теребянко спрыгнул с борта, поздоровался со всеми за руку. Махнул рукой Коробкиным, чтобы выгружались, и прошёл в столовую. Стол к его приезду освободили от посуды. Теперь на вымытой и протёртой досуха клеенке лежала стопкой документация по скважине и полевые журналы Дейнеги.

Теребянко внимательно просматривал каждую тетрадку, слушал, что Дейнега рассказывает о заложении канав и шурфов на левом берегу реки, рассматривал построенные Егором разрезы.

– Ладно, – наконец сказал он. – Тут всё понятно. Для очистки совести подсечёте границы слоев и айда к Фёдору на Шарью. У него аномалия перспективная, прямо по разлому. Они уже с магнитометрами отбежали, теперь провода тянут. Насчёт трубки не уверен, но вполне может быть погребенная россыпь. Как-то уж всё складывается.

Он достал из кармана разломанную пополам пачку «Казбека». Выудив папиросу с длинным мундштуком, продул и постучал гильзой о ноготь большого пальца. Задумался. Все молчали.

– Англичанин, – наконец начальник обратился к Андрею, – какая у тебя техническая скорость получается?

Андрей пододвинул к Теребянко журнал прощадки. Тот полистал, облизывая губы, куря и складывая дымок в мудрёный крендель. Наконец закрыл журнал и покачал головой.

– Загонишь если не людей, то технику. У меня один ухарь уже два буровых станка за сезон запарол. Из твоих, кстати, из пионеров. Тоже торопыга выискался. Кто вас учил по две с половиной смены в день гнать? Вам Борисыч такое

преподаёт? Тогда зря твоему Витьке не позволил по шее этому пролетариату умственного труда надавать. Или собственная инициатива?

Андрей молчал.

– Чтобы в последний раз я такое видел. Уволю к чёртовой матери, отправишься в Крым патииссоны окучивать. Больше двух смен по шесть часов люди у тебя работать не должны. По пятнадцать часов у него пашут, как на заводах Форда до забастовок. Профсоюза на тебя нет. Ты куда гонишь?

Андрей потупился.

– А я смотрю, судя по тому, как Дейнега керн описывает, рейсовая скорость у буровой – вторая космическая. А тут вон чего творится. Он от земли оторвался и в мечты улетел. Хочешь домой к жене и дочери, скажи, выпишу отгулы.

Когда Теребянко кого-то распекал, остальные делали вид, что их рядом просто нет, боялись пошевелиться. Но тут кто-то громыхнул на складе коробкой с консервированным супом.

– Кому там неймётся? У нас производственные вопросы.

В палатку заглянул Миха с виноватым лицом.

– Я тут продукты актирую, Егор Филиппыч, – сказал он, поправляя очки и щерясь.

– А ну-ка иди сюда, Митрофан, – приказал Теребянко.

Миха нехотя вошёл в палатку, предвкушая, что сейчас будут ругать его, но не понимал за что. Была на нём красная, огненного цвета рубаша, по случаю приезда начальства брюки со стрелками и лакированные ботинки.

– Вы по сколько часов в день работаете?

– По пятнадцать, иногда по шестнадцать.

– Это по две с половиной смены?

– Почему две? Утренняя у нас короткая, а вечерняя длинная. Ну и хвостик там ещё, – ответил Миха невпопад.

– Какой хвостик? Леминга? – Теребянко вопросительно наклонил голову, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

– Ну если жара спадёт, то чуть-чуть ещё дodelываем. А что? Хорошо идём, Егор Филиппыч. Премия будет хорошая.

– Ещё один стахановец, – Теребянко опять закурил и вроде внешне подобрел. – Хвостики у них. Если бы мог, приказ вывесил, что больше двух смен подряд работать запрещено. Только я и такой приказ не могу отдавать, мне «охрана труда» за это по шапке накидает. Однако устно требую не гробить технику, работать не больше

двенадцати часов в день, после чего регламент и отдых станку. Понял меня, Англичанин?

Андрей кивнул. Он не то что не привик, когда его ругают. Он вдруг с удивлением почувствовал, что ему всё равно. Пусть несправедливы слова начальника, пусть и похвалить по-хорошему бригаду надо, а не ругать, но спорить не хотелось. Онемел он вдруг дремучим зековским молчанием, тем, что помогает по первости перетерпеть на зоне, а потом остаётся с человеком, ходит за ним, словно ждёт часа, когда станет единственной силой.

– Вон Коробкиных тоже дома ждут, – Теребянко отхлебнул из поданной Михой чашки ржавчину грузинского чая с брусничным и малиновым листом.

Коробкины подняли взгляды от земли и заулыбались, показывая, что да, ждут их дома, ёксель-моксель, и даже очень ждут. У каждого жена и двое ребятишек.

– Этим только волю дай, вообще всю вахту до нар не доберутся, даром что трое. По очереди прямо в шурфах перекемарят, да и потащат опять породу на поверхность. Нам такие подвиги ни к чему, у нас не золотая лихорадка и не Дикий Запад. У нас обычный Север, место, куда синяя стрелка компаса указывает. Усёк, бригадир?

– Так точно, – отчего-то зло и по-военному ответил Андрей, словно сбил щелчком с рукава не вредную, но досадную гусеницу.

– Ну и славно, – Теребянко недоверчиво посмотрел на Андрея. – На вот. – Он протянул через стол нечто тяжёлое, завёрнутое в фольгу.

В свёртке оказались жареные Дарьины пирожки с брусничным вареньем, которые тут же разделили на всех.

Через час Миха ушёл с топографом и Дейнегой привязывать шурфы, а Трилобит с Андреем запустили буровую. Теребянко возник на краю поляны, обошёл установку, понаблюдал, как работают, побродил вдоль ящиков с керном, достал несколько кусков, мигнул в лупу, поковырял ногтём, капнул пипеткой из маленькой баночки, потом сплюнул жёванный окурочок в берёзку и отправился к реке.

После ухода Теребянко стало спокойнее. Вдвоём молча дотянули смену до конца, заклинили и сорвали керн, остановили промывочный насос, отпустили патроны станка и начали медленно поднимать колонну, труба за трубой. Андрей двигался неторопливо, колготился заученными движениями, однако казался больше

обычного растерянным и раненным своими мыслями. Сергей Сергеич молча надевал элеватор на верхний паз замка, ждал, когда Андрей поднимет трубу лебёдкой, вынимал подкладную вилку, затем вновь вставлял в замок, но уже в нижнюю прорезь муфты, после чего включал трубооборот. Андрей отправлял свечу вверх. Свеча шла с уютным, чуть подвывающим звуком, словно бы сотня комаров размером с небольшого зайца закручивалась воронкой над буровой. В какой-то миг он зазевался и пропустил момент выхода замка из устья, всполошился звонок на верхушке мачты. Сергеич выругался и зыркнул на мастера. Андрей, словно очнувшись, остановил колонну, оглянулся по сторонам, встретился с сердитым взглядом помбура и развёл руками, мол, «с каждым бывает». Дальше он уже не ошибался. Выбрав колонковый набор, поднял и уложил керноприёмник, дождался, пока Сергеич освободит и разберёт по ящикам керн, показал руками, что работа окончена. Трилобит заглушил двигатель. В оглохшей тишине где-то снизу у реки лопнул дуплетом «ижак» Дейнеги. Андрей приподнял брови и вопросительно взглянул на Трилобита, тот кивнул.

– С грибами и сухим молоком потушу, – сказал он задумчиво.

Умывшись по пояс под рукомойником, переодевшись в свежую энцефалитку, Андрей оставил помбура «шаманить» торжественный обед, а сам взял спиннинг и поспешил к реке. Навстречу по просеке, бухая о тропу закатанными болотными сапогами, широко шагал Егор. Заметив Андрея, Дейнега по обыкновению поднял над головой руки с добычей. В каждой он держал по небольшому тетереву.

Молодые тетерева к концу июля ещё не нагуляли жир и размером не отличались от цыплёнка-бройлера, но мясо их было нежным, потому тетерев считался хорошей добычей, не в пример рябчикам с куропатками. Тех на Гряде водилось в изобилии, и подстрелить их большой удачи не требовалось. Впрочем, Андрею нравилось свистеть в манок, замирать, прислушиваться, стараясь среди гула тайги различить ответный пописк.

– Как дела? – поинтересовался Андрей у друга.

Дейнега махнул рукой.

– Привязались. Фихман – хороший топограф. Раз-два, ход пробежал и замкнулся на репер. Я им с Теребянко ямку показал под скалой, хариуса на вертушку ловят. Пижоны. Мелких отпускают.

Покурили, поговорили об охоте и разошлись. Андрей спустился к реке. Заостренная в этом месте делала две петли, то раскрываясь в плёс, то каменными ладонями перетирая стремнину подобно налитому колосу, то вдруг путала белую леску струй неровной ячеей каменной сети. Шумная, спешащая расхохотаться в вымоинах эхом река раскидала вдоль левого берега глухие ерики, в ямках которых стоял на глубине серебристый хариус, непуганный никакой снастью, скорый на расправу что с мальком, что с блесной. Иная рыба под два килограмма сгибала спиннинг пополам.

Фихмана Андрей увидел сразу, как вышел на узкий каменистый пляжик, отделяющий небольшой затон от остальной реки. Топограф стоял, широко уперев ноги в берег, и сосредоточенно сматывал леску на широкую катушку «Нева», вглядываясь в омут, где посверкивала в толще воды вертлявая блесна. Посреди реки оседлал большой камень Миха, пустивший по течению самодельную муху из пёрышек и пуха. Чуть поодаль на вросшем в берег выбеленном и отшлифованном паводками бревне сидел Теребянко и писал в полевой журнал. Энцефалитку Теребянко снял. Она лежала рядом на камнях, аккуратно сложенная и придавленная планшеткой. Рукава клетчатой ковбойки были закатаны, и руки начальника ВоГЭ сплошь облепили комары, отчего даже издали казались покрытыми густой шерстью.

Теребянко никогда не пользовался репеллентом. С конца мая, когда появлялся в тундре гнус, ходил он пару недель с опухшим лицом и руками, похожий на запойного, но когда отёк спадал, насекомых уже не замечал. Кожа привыкла и не откликалась на укусы, словно дубела, превращалась в броню от солнца и ветра.

Теребянко поднял глаза от записей, заметил Андрея, идущего по кромке воды, и жестом показал ему на место рядом с собой. Андрей подошёл и сел на плоский тёплый камень.

– Значит так, – Теребянко закрыл журнал и перетянул его резинкой. – Думал, как начать разговор, не придумал, потому начну запросто. Отец на свадьбе рассказал и про срок, и про машину, и про девочку. Попросил приглядеть за тобой, потому как считает, что характером вы с ним похожи, а он совестливый.

Андрей сморщился и посмотрел за плечо Теребянко, где Миха вытаскивал из воды очередного хариуса.

– Так что, если думаешь, вроде как не в своё дело лезу, не серчай. Судя по тому, как скис и замкнулся, что-то внутри тебя разболелось. Если не печень, а ты непьющий, значит, совесть – это, считай, на всю жизнь. Для русского человека болезнь привычна. Здесь таких хроников – каждый второй. Едут залечивать душевные раны.

Теребянко оглянулся, высмотрел на склоне среди осоки чахлый кустик багульника, потянулся к нему, сорвал несколько длинных маслянистых листочков, перетер между пальцами, поднёс ладонь к лицу, понюхал.

– Слушай меня, Англичанин. Жить с такой совестью – как с простатитом: радости мало, но можно. Хотя много видел и дураков. Те отчаялись, все внутренности свои на оливье изрубили и сожрали без майонеза. Их не жалко, а вот жён их да детей жалеть приходилось. Самим же, как ни крути, конец один.

– Какой? – спросил Андрей.

– Обычно стреляются по пьяному делу, – Теребянко прищурил один глаз и наклонил голову, – или от той же водки мрут.

Они помолчали.

– Но это, Андрей, не про тебя.

Андрей поёжился, Теребянко редко его называл по имени.

– Правильно, что работой глушишь. Это по-мужски. Только во взгляде равнодушие. По фигу тебе всё стало. Если бы три года назад я тебя в поезде с такими взглядом повстречал, на работу не позвал. Мне отчаявшиеся не нужны. Может, случилось, что кончился в тебе Север и пора возвращаться домой, к отцу и матери. Ты ведь не дичок, не перекати-поле, ты парень основательный. Подумай. Мне, конечно, такого кадра потерять обидно. Но сезонником я тебя всегда возьму. Лучше опытный сезонник, который вкалывает по-честному, чем постоянный кадр, от которого и люди, и техника стонут. Жизнь разная, не всякая тоска – плохо.

Андрей, слушая Теребянко, на него не смотрел. Он снял сапог, вытряс попавшее в них крошево карликовой берёзки, вновь надел. Достал из внутреннего кармана куртки пачку сигарет, закурил.

– Что бы в твоей жизни ни произошло, какая гадость или несправедливость, помни, что ты...

– Да помню. Советский человек, – не дал ему закончить Андрей.

– Мужик прежде всего. Когда совсем не могу, книжку читай... Всё едино, поможет, от мыслей

дурных отвлечёт, авось и утешит. Говорят, ещё молиться хорошо. Но про то я не понимаю, научный атеизм в институте прогуливал. Вот книжечку тебе хороших привезу. Слышал, Федькину библиотеку по журнальчику всю за пару лет перетаскал. Геофизики давеча смеялись, что если завести формуляры, то ты бы во всех отметился.

Андрей улыбнулся.

– Ну вот и поговорили. – Теребянко хлопнул Андрея по плечу. – Своих не загоняй, себя береги. У тебя есть за кого отвечать. Лады? И думай. Отец с матерью у тебя немолодые уже.

Андрей кивнул и почувствовал, как от упоминания матери защекотало вдруг за ушами и за свербило в переносице. Не то соринка, не то чепушинка, не то просто солнечный зайчик, скачущий между берегов, вынырнул из воды и юркнул под ресницы. И если бы в тот же миг позади Теребянко Миха не вытащил из воды большущего хариуса, не поскользнулся, всплеснув руками, и не свалился с камня, на котором стоял, оглашая скалы мудрёным хохотливым матом, заметил бы начальник, как блеснула в уголке глаза Андрея слеза. А так вроде и не заметил или виду не подал.

## 11

С середины августа неожиданно рано для этих мест открылись Карские ворота, холодный полярный ветер приносил ежедневно на Гряды то знобливую хмарь, то утренний заморозок, а то и настоящий снегопад, занавешивающий полосу, яркую тундру белым тюлем. Андрей с бригадой две с половиной недели бурил на точке, где стояли лагерем шумные ленинградские геофизики из пятьдесят второй партии. Потом пять суток ждал борт в непривычной для себя праздности, пока геофизики заканчивали работы на дальних аномалиях. Теребянко бегал в Москве по коридорам министерств, пытаясь понять, какие перемены ожидать в финансировании. В это время открылись для полётов горы и диспетчеры интинского авиаотряда по своему усмотрению ломали график забросок.

В столице менялась власть, о чём говорили все радиостанции. Геофизики не пошли на профиля, а сидели по своим палаткам и выкручивали волну в приёмниках. Буровую законсервировали и подготовили к зимней транспортировке. Ящики с керном, сложенные в штабеля, ждали на вертолётной площадке. Партия собиралась к перемещению на запад, ближе к Усе, на Большую Сарьюгу, где уже рыли шурфы Коробкины.

Дейнега несколько дней хворал. В среду, пока Трилобит с Михой помогали Андрею снимать с буровой электроприборы и носить ящики с керном на вертолётку, Егор целых полчаса барахтался в ледяных водах Тальбейшора. «Ну и ухарь», – решил Андрей, когда, вернувшись в сумерках в лагерь, увидел Ивана, кипятящего чай на их печке, и Егора, зарывшегося в верблюжий спальник и явно не в себе декламирующего какие-то стихи.

– Бродский. «Письма к римскому другу», – подкидывая очередное полено, сказал Иван. – Перекупался. Тридцать девять у него. Аспирина дал и ещё горсть каких-то таблеток.

Фамилия поэта Андрею ничего не говорила, да и было это неважно. Он поставил ружьё в угол и подсел к печке. За самодельным столом Борода, ещё один однокурсник Дейнеги, раскладывал пасьянс, крутил ручку настройки мощного «Альпиниста» Андрея, вылавливая убегающую волну, и попыхивал душистым заграничным табаком, который скручивал в самодельные сигаретки. «Голос Америки» транслировал выступление вернувшегося в Москву президента Горбачёва.

Дейнега зашёлся кашлем.

– Ты бы курил на улице, – раздражённо сказал Андрей, обращаясь к Бороде. – Видишь же, хворает человек, ему и без того дышать тяжело.

Борода не стал спорить, накинул ватник и вышел из балка. Ночью Егору стало совсем худо, и Андрей подумывал, что надо будет утром вызвать санитарный борт. Но к утру температура спала, и приятель забылся сном. Днём приходил Фёдор, смотрел на спящего Дейнегу и качал головой.

– Что его нырять понесло? – спросил Андрей.

– На спор, – буркнул Фёдор. – В пионерском лагере, наверное, привык всё на спор делать да на слабо. И эти аспиранты такие же. Мальчишки! Оказались среди взрослых людей, а детство так и прёт. Теперь, не дай бог, пневмония.

Егор проснулся к обеду, сделал над собой усилие и выбрался в столовую. Погрустил над миской с рассольником, расковырял картошку, кем-то из геофизиков переваренную почти в пюре, и вернулся в балок спать. К шести вечера ему опять сделалось худо, бредил, дышал громко и часто. На вечернем сеансе связи Фёдор вызвал санборт.

С самого утра в субботу, накануне Дня шахтёра, они вслушивались в небо. Казалось, то с одной, то с другой стороны доносится едва раз-

личимый шум винтов. Один раз они даже заметили далёкий вертолёт, идущий курсом на запад километрах в трёх от места стоянки партии.

Оранжевый Ми-8 с запачканным сажей хвостом прилетел к полудню и встал под погрузку с вращающимся винтом. Борода с Иваном, пригибая головы, с трудом преодолев струю воздуха, помогли приятелю залезть внутрь машины. Андрей загодя собрал пожитки Дейнеги в синий рюкзак, а ружьё и рыболовные снасти упаковал во вьючник, который вместе со своим перетасил к остальным вещам бригады. Они уже несколько дней лежали аккуратной горкой в углу вертолётной площадки, укрытые брезентом и готовые под погрузку. Андрей наскоро простился со всеми, обнялся с Фёдором. Знакомый пилот из кабины показывал знаками, что надо поторапливаться.

Они летели низко над яркой осенней тундрой, исчерченной ровными штрихами вездеходной колеи. Летели над тайгой, растерявшей свою силу в сутолоке, за грядой с тундрой и верховыми болотами, поросшими мхом и карликовой берёзкой. То и дело внизу срывались со своих мест тетерева, чиркали по верхушкам елей крылом и ныряли внутрь зелёной темени. Дверь в кабину была открыта и заклинена. Пилот сидел в кресле с открученной спинкой, словно в седле, поставив ноги по обе стороны, так что под левую коленку ему упирались ручки раздельного управления двигателями. Держа рычаг двумя руками, он покачивался из стороны в сторону, то и дело заваливаясь на пустующее кресло бортового инженера. В салоне Андрей и Егор оказались одни. Но вскоре грузовую кабину заполнили рыбаки. Лётчик трижды заходил на посадку и подбирали неулыбчивых и словно вечно чем-то недовольных интинцев. Они молча проходили в хвост и садились на лавки вдоль бортов, примостив тяжёлые яровские рюкзаки между ног. Аромат свежепойманного хариуса пробивался даже сквозь горячий дух палёного керосина. На последней стоянке на борт забрался техник и, примостив брезентовый мешок с рыбой под лавкой Андрея, уселся на своё место в кабине.

– Ну, браконьеры, теперь домой! – громко сказал пилот и обернулся, пытаясь различить в темени салона закутанного в ватник Дейнегу. – Егор, ты там жив ещё?

Тот поднял ладонь вверх, показывая, что в норме, грех жаловаться. Пилот связался по радиации с вышкой, предупредил, что из-за внезапного тумана несколько раз пролетел мимо точки,

73

но теперь большой на борту и можно звонить в больницы, чтобы присылали скорую.

Здесь привыкли, что летуны берут левых пассажиров, которые щедро расплачиваются за извоз либо деньгами, либо добытым в тайге. Инstrukция подобное негоцианство запрещает, но на Севере, лишённом дорог огромном крае, где, если повезло, – от жилья до жилья по прямой через тайгу восемьдесят километров, а может случиться, что и все двести, вертолёт – единственный транспорт. Лётчики – племя спесивое, споры с ними тщетны, чреватые опалой, а то и проклятьем небес. Потому вертолётёты тут ещё с пятидесятих годов заклинали, как заклиняют духов здешних болот или погоду. Если ты пришлый, горластый да с гонором, сегодня, конечно, настоишь на своём, но после устанешь неделями ждать положенного рейса. Всегда можно найти повод, чтобы к тебе не лететь: то горы открыли, то ветер боковой, то топливо из-за промежуточных посадок всё потрачено. Потому всякий отряд, всякая партия несёт пилотам подаяние, жертву, завернутую в хрустящую крафтовую бумагу, а то и в льняную тряпицу: копчёную рыбу, тушку глухаря или пяток рябчиков с топорщащимся пушком над набитыми черникой зобами. Даже всесильный князь-самодержец Теребянко и тот с интинским авиаотрядом старался не ссориться. На День геолога в апреле приглашал руководство отряда за счёт экспедиции в Воркуту на праздничный концерт и банкет. На День воздушного флота в августе надиктовывал поздравительные телеграммы с перечислением экипажей, достойных поощрения.

Неучтённых пассажиров выгрузили в Кожиме, после чего вертолёт вновь набрал высоту и полетел вдоль железнодорожной насыпи. Километра за четыре до Южного Ми-8 резко завалился на бок в крутом развороте, и в иллюминаторе плоской серой медузой, тающей и поблёскивающей на солнце, появилась Инта. Обнимающие город с трёх сторон болота мигали в небо титановыми бельмами оправленных бурым мхом омутов. Здесь, перед городом, тундру густо расчертили вездеходные дороги. То и дело с высоты замечал Андрей ржавый остов техники, запутанной когда-то забравшейся в трансмиссии нежитью, оттого по самые траки увязшей в трясине и теперь на радость природе проросшей берёзкой и багульником.

На подступах к человеческому жилью тундра теряла первобытную силу, и во всей этой свалке

чудилась уже не природная неведомая воля, а корневое человеческое разгильдяйство.

Сброшенные с кузовов кем-то нерадивым жестяные бочки, белое алюминиевое исподнее рухнувшего в незапамятные времена самолёта, красные газовые баллоны, снятые неведомыми рабочими с прицепов и аккуратно оставленные ржаветь под одинокими сухими елями, взятыми за ориентир, да так и позабытыми. И наконец, за хаосом вагончиков-балков, годами ожидающих отправки в тайгу на прицепе или грузовым рейсом вертолётёты, появилась строгая азбука навигационных знаков интинского аэропорта.

Новую вертолётную площадку недавно устроили у самого здания аэровокзала. Зелёный узик-«буханка» с красным крестом подкатил со стороны автобусной остановки. Врача в машине не оказалось, только водила и высокий, плотный санитар.

– Сам идти может? – угрюмо спросил последний и указательным пальцем размазал под левым глазом мошку.

Получив утвердительный ответ, санитар залез обратно в кабину и закурил сигарету.

– Сопровождающим не положено, не такси, – гаркнул он, заметив, что Андрей собирается последовать за приятелем.

Спорить не хотелось. Андрей пожал протянутую Дейнегой ладонь, пожелал другу здоровья и захлопнул дверь буханки. Узик рванул с места, и Андрей заметил, что Егор, не успевший сесть, чуть не упал, но вовремя схватился за потолок.

– Придурки, – процедил Андрей, закинул рюкзак за спину и пошагал по Сельхозной.

Навстречу, ухая в колдобины и разбрызгивая по сторонам мутную воду, спешили таксомоторы встречать пассажиров сыктывкарского рейса. Он свернул на Озёрную, по мосту перешёл реку и дальше парковой аллеей мимо сожжённой шпаной сцены летнего театра выбрался ко второму мосту через Большую Инту. Ещё стукая каблуками кирзовых сапог по деревянному настилу узкого подвесного моста, Андрей заметил Витьку. Витька в новой кожаной куртке коричневого цвета поверх модного джемпера с орнаментом, в варёных джинсах, в чёрной круглой вязаной шапочке, скрывавшей рыжие вихры, стоял у моста и вертел на пальце ключи от машины. Из его «четвёрки», припаркованной чуть поодаль, у бюста Чайковского, выскакивали кривляющиеся звуки какой-то иностранной группы, катились по щербатому асфальту и, подпрыгнув на камен-

ном бордюре, скатывались по бетонным плитам в воду.

— А я тебя ещё у аэродрома заметил, — крикнул Витька издалека. — Ну, думаю, сейчас клиентов отвезу и как раз тебя подловлю.

Они обнялись. Витька достал из кармана куртки пачку «Marlboro» и предложил другу. Андрей вытянул из неё сигарету и стал разминать между пальцев.

— Да ты чудик, Англичанин! Это же не «Космос», — засмеялся Витька и поднёс Андрею зажигалку.

Смолистый дымок виргинского табака запутался между дерев, смешавшись с запахом листвы и прели.

— Ну что, завтра на работу? — поинтересовался Андрей.

— Охота была по мордасам получать! Ну его к чёрту, этот День шахтёра. Выпью спокойно с мужиками.

— Три года тебя знаю. Третий год обещаешь. Опять не удержишься, — Андрей посмотрел на приятеля, поскрябав щетину на подбородке. — У тебя как приход скорого, так условный рефлекс.

— Не, — Витька отрицательно покрутил головой, — в прошлом году мне фиксу выбили, я себе зарок дал, что последний раз. А если чего решил, то полный кроссинговер.

От перекрёстка улицы Чайковского и Мира, которую местные по привычке называли улицей Жданова, до дома Андрея было два квартала. Проехали мимо школы.

— Во! Видал? — Витька показал рукой на школьное крыльцо, перед которым висел яркий трёхцветный флаг. — Вчера повесили.

Андрей заметил такой же на здании аэровокзала, но не придал значения.

— Новая власть, мать её, — заржал Витька и въехал во двор.

Андрей достал с заднего сиденья рюкзак и захлопнул дверь жигулёнка. Витька козырнул другу и отправился бомбить дальше, оставив приятеля перед дверью в подъезд.

Андрей не любил осень в Инте. В тайге, на вахте, осень была в своём праве. Каждая лужа, покрытая коркой льда поутру, каждый крик птицы, окликающей в последний раз распадок между сопок, чтобы запомнить это эхо и по нему найти весной родные места, — всё было понятным и законным. Даже вой лебёдки на мачте буровой или стрёкот движка генератора за балками, пыхающего бензином и гоняющего по проводам

двадцать четыре вольта сиротского экспедиционного электричества, не казались лишними. Другое дело северный город — нервный, злой, приученный ждаты, но не терпящий нежности, скупой на добро, способный лишь сварливо принять покорное услужение: здесь погрей, тут помой, там приберись. Возвращение в Инту никак не получалось обернуть возвращением домой, как бы Дарья ни старалась выстроить уют на двадцати пяти квадратных метрах общей площади.

Ещё до того, как в их жизни возникла Варька, потешное, ясноглазое существо, нет-нет а задумывался Андрей о Пятчино. О том, как было бы прекрасно поставить сруб на том краю участка, что дальше от дороги. Чтобы в окна вечером сияло закатное солнце и можно было бы смотреть на картофельное поле и старый сарай, сложенный не то прадедом Андрея, не то прапрадедом. Этот сарай возвели из крепких сосновых брёвен, всем семейством ночами вывозимых на телеге ещё из господского бора у хмерского погоста. А утром, лишь рассветёт, было бы здорово обуться в подвёрнутую кирзу и повести за перегиб кудлатого, пахнущего денником коня Сярёжу, спутать ему передние ноги, отпустить пастись на опушке у оврага, вернуться домой и заварить в старом эмалированном немецком кофейнике отца кофе. Чтобы от того места, где ты ложишься каждый вечер спать, до того места, где положат тебя на веки вечные рядом со всеми твоими предками, имена которых никто уже не помнит, а записи о рождении на свет коих давно сгорели вместе с церковными книгами, чтобы до места того можно было дойти пешком, отмахиваясь от слепней и оводов ивовой веткой. Но лишь только делались различимыми в душе далёкий гудок локомотива на ветке Струги Красные — Псков да острый крик зарянки, рушились небеса, единственной и неизбывной болью сминая под собой на все времена и до последнего вздоха и робкие фантазии, и осторожные мечты о доме.

Ночью после возвращения с Гряды к Андрею долго не шёл сон. Жена то и дело вставала к Варьке. Она обычно клала ребёнка с собой, чтобы было удобнее ночью кормить, но сейчас, соскучившаяся по ласкам мужа, убаюкала дочь и отнесла в детскую кроватку. Их скоротечная, нервная близость тем не менее успокоила Дарью, и она обхватила мужнину голову руками, положила колено ему на бедро и сразу заснула. Андрей промучился час или два без сна, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить жену.

75



Наконец осторожно высвободился из объятий, встал с постели, подошёл к детской кровати, посмотрел в свете ночника, как уютно спит дочка, примостив под щёку маленький кулачок, поправил на ней байковое одеяло и, притворив за собой дверь, вышел на лестницу.

Пахло виргинским табаком, в жестянке дымилась плохо потушенная соседом сигарета. Андрей открыл окно настежь. Стекло дребезжало под штапиком. Фонари во дворе не горели. С севера наволокло туч, закрывших луну. Лишь в доме напротив на втором этаже светилось окно. Через прозрачный тюль была видна мужская спина. Мужчина мыл посуду, наклонившись над раковиной. То и дело он протягивал руку вправо, чтобы поставить тарелку в невидимый с места Андрея шкаф. Где-то совсем рядом всполошилась дурным голосом автомобильная сигнализация. Андрей видел вспышки света и тени от мигающих фар. Мужчина вытер руки о фартук, подошёл к окну, прислонил лоб к самому стеклу и несколько секунд всматривался в темень двора, пытаясь различить, откуда звук. Наконец он выпрямился, взглянул перед собой, заметил Андрея, стоящего в освещённом квадрате лестничного окна, и почему-то погрозил ему кулаком. После чего мужчина задёрнул занавески и выключил в кухне свет.

Андрей вернулся в квартиру, в потёмках выбрал в серванте книжку и, примостившись возле Варькиной кровати, стал читать в свете ночника, пока не сморил его сон. Через час, разбуженный детским плачем, он перебрался на кровать, где заснул уже до утра, успев почувствовать, как жена гладит его по волосам.

День шахтёра начался с того, что по всему городу захрипели старые колокольчики трансляторов и, путаясь в дробном эхе, по улицам покатились тусклая и помятая медь маршей. Когда к девяти утра Андрей подошёл к гастроному на площади, у соседнего винно-водочного отдела уже образовалась огромная толпа. Похоже, что занимали ещё с ночи. Во всём городе талоны на вино и водку можно было отоварить только в двух местах, да и там лишь два раза за месяц. День привоза работники магазина всякий раз держали в секрете, но всякий раз слухи о том, что на станции грузят ящики с киром, разносились по Инте со скоростью породы, выскакивающей из-под жала пневмомолотка. Пока Андрей стоял с бидоном за молоком, в соседней очереди то и дело раздавалась ругань, начинались и

тут же заканчивались короткие потасовки. Основная битва была ещё впереди. Андрей подумал, что к одиннадцати, когда магазин откроется, если не заработают все три прилавка, мужики пойдут на штурм.

Милиция в такие дни рядом с магазином появляться побаивалась, посылала дружинников, которые, не будь дураки, снимали повязки и пристраивались в хвост очереди. Так что пуще милиции стоило шахтёрам опасаться директоршу магазина, упругую краснолицую тётку, способную в одиночку, выставив вперёд салонный бюст под расшитой блёстками кофтой, вытолкать из отдела десяток мужиков и захлопнуть под ропот толпы дверь.

– Пока не успокойтесь, пока очередь не наладите, не открою. Всё оформлю как бой, в канализацию спущу, но не продам, – кричала она из-за закрытой двери.

В День шахтёра у отдела всё-таки дежурил милицейский «козелок».

– Татьяна, – доносилось из очереди, – открывай ты уже. Всё, не действуют твои постановления. Новая власть уже, народная. Пусть коммунисты после одиннадцати покупают, натерпелись.

– Давай уже, крути стрелки, у рабочих людей один праздник в году.

Молочница отёрла тряпкой капли и протянула бидон Андрею. Он накрыл молоко крышкой и вдоль гомонящей очереди пошёл за мукой в бакалею. Только завернул за угол гастронома, как его окликнули. Это были Коробкины. Тут же стояли Фёдор и остальные ленинградцы, за которыми накануне, как оказалось, сразу после отлёта Дейнеги с Андреем, прибыл грузовой вертолёт, чтобы отвезти на базу в Кожим. Рассказали, что Теребянко прислал телеграмму с приказом свернуть все работы на гряде из-за неясности с оплатой.

Пока разговаривали, к очереди подошёл Витька. Под курткой на лацкане его пиджака виднелся значок «Передовик Инта-уголь» и флажок ударника социалистического труда.

– Ага, ёксель-моксель, барыга пожаловал, – беззлобно проворчал старший Коробкин и протянул Витьке руку.

– Я рабочий человек, пострадал здоровьем на производстве, шахтёр. У меня отец – шахтёр, дед – шахтёр.

– Знаем такого шахтёра, – заржали остальные Коробкины. – У тебя в наших гаражах ящиков пять водки припрятано. Ты чего сюда приперся, кооператор?

– Нет у меня никакой водки! Была оказия в прошлом годе, случай, обломилось пара коробок, так когда это было. Вы же у меня и растаскали всё под самый кроссинговер на День конституции, – оправдывался Витька. – Я, как честный человек, пришёл талоны отоварить, а не с заднего крыльца. Вот, в очередь, как и все. – И Витька махнул рукой куда-то в ту сторону, где между домов очередь утончалась.

– Ладно уже, – смилостивились Коробкины. – Как-никак сосед по гаражу. Вставай сюда.

Мужики сзади зароптали, но геофизики хором вступились за Витьку, дескать, он с ними, дескать, занимал, стоял, но просто отошёл, что вообще это их дело, кого пускать, а кого нет. Очередь пороптала, но успокоилась. Коробкиных в Инте знали и уважали.

– У Егора был уже? – поинтересовался Фёдор.

Андрей отрицательно покачал головой. Он планировал зайти к другу вечером, перед сном, когда Дарья соберётся укладывать дочь и потребует полной тишины в квартире. До больницы от их дома был всего квартал. Дарья обещала испечь пироги и приготовить бульон в термосе.

– Зайди и письмо ему передай. Я в конторе взял, – Фёдор порылся в портфеле и вытянул на свет большой конверт, весь оклеенный иностранными марками. – Заграница. Небось очередная публикация. Так, глядишь, он меня с докторской обскачет, шустрый парень, и английский знает. Хау ду ю ду, Англичанин?

– Ай эм файн, – ответил Андрей, свернул конверт вдвое и убрал во внутренний карман куртки. – Экзактли!

Они ещё немного поболтали, потом Андрей попрощался и пошёл по своим делам. Весь день он возился с дочерью, помогал Дарье по хозяйству, заклеивал на зиму окна полотняными лентами, смоченными в картофельном клейстере. Марши из репродукторов сменились на улице нетрезвым пением, потом криками, звоном разбитых стёкол, звонким женским матом. Инта догуливала праздник, не сильно заботясь о завтрашнем рабочем дне. Те, кому с утра не нужно было спускаться в забой, пили сильнее тех, кто отправлялся на утреннюю смену. Те же, кто только что вернулся с шахты, спешили догнать товарищей. Дарья пекла на кухне пирожки, раскатывала тесто прямо на клеёнке, вырезала в нём ровные кругляши стаканом, насыпала в каждый такой кружок горсть брусники, серебрила сахаром и аккуратно

заворачивала так, что получался маленький кораблик. Кораблики плотно укладывались в чугунную сковородку без ручки и отправлялись в духовку. Там уже томилаась в двух сковородках остальная флотилия. Кухонный телевизор по обоим каналам вместо праздничного концерта транслировал заседание в Кремле, а может быть, и не в Кремле. Андрей не разбирался. Звук Андрей убрал. Какие-то возбуждённые люди в пиджаках беззвучно открывали рот на трибуне, смеялись друг друга, а в зале так же беззвучно хлопали.

В восемь вечера Дарья ушла укладывать дочку на ночной сон, а он разложил пирожки в кастрюлю, замотал её в несколько слоев газеты и вместе с термосом осторожно устроил в сумке. Сунул сбоку полученный от Фёдора пакет.

Услыхав, что Андрей шуршит курткой в прихожей, Дарья выглянула из двери комнаты.

– Поцелуй от меня Егора, – сказала она, – и не задерживайся, полный город шантрапы.

Андрей заулыбался, представив, как будет выглядеть поцелуй, и аккуратно прикрыл за собой дверь. Во дворе перед подъездом стояла Витькина «четвёрка». Это означало, что Витька удержался и действительно не вышел сегодня на работу. В свете фонаря были хорошо видны два жёлтых противоугонных крюка на руле. В Инте угоняли машины только для развлечения, чтобы покататься. Обычно бедокурили подростки, студенты того же училища, которое оканчивал Андрей, или просто шпана из дворовых компаний. Все машины тут были известны, в гаражах тоже друг друга все знали, так что просто так не спрячешь и не разберёшь, а никакие автомобильные дороги, пригодные для того, чтобы по ним ездить на легковушках, из Инты не выходили. Если угнанная машина не отыскивалась за пару часов, хозяин отправлялся упрашивать кого-нибудь из автопарка чтобы тот проехал по дороге на Косьювом и пристань «Тридцать пятый километр». Где-то уже на третьем километре дороги обычно угнанный автомобиль и стоял, съехавший по жидкой грязи на обочину, да там и увязший. Угонщики – косьювомские мужики, приезжавшие в Инту в магазины, таким образом предпочитали доставлять покупки домой. По зимнику иной раз им удавалось доехать до самого посёлка, тогда машину бросали возле школы. За ухарство и разбойную наглость интинцы литературно прозвали их «казбичами». Витькину «четвёрку» тоже крали, и Витька ездил за ней на КраЗе, а потом бегал по деревянным мостовым

Косьювона и искал «казбича», чтобы подраться. Но, конечно, никого не нашёл. Да и как определить? У всех рожи красные, глаза прозрачные: «Да ты чего, мужик? Не знаем мы про твою машину. Мы люди неподконвойные». Купил на пристани у рыбака мешок копчёного хариуса, запутал и недоплатил почти вдвое. Вернулся в Инту победителем, в лице бедолаги-рыбака отомстив всем косьювомцам. Ходил потом хвастался.

До больницы от дома было два шага. Часы посещения уже закончились, но можно было попасть в отделения через приёмный покой. Пост там не выставлялся, а дежурный врач и медсёстры за входящими не следили. Даже ночью по коридорам больницы часто шлялись посторонние. Говорили, что наркоманы приходят ночью в больницу за наркотиками. Может, конечно, то были и неведомые никому, почти инопланетные наркоманы, но местные знали, что в больничке всегда, пусть втридорога, но можно купить медицинского спирта.

К приёмному покою вела тропинка из огромного пролома в заборе. Андрей от своего подъезда свернул на тёмную бетонную пешеходную дорожку, проложенную по берегу реки, с задней стороны кинотеатра и вышел за последними домами чётной стороны туда, где заканчивалась улица Бабушкина и начиналась Новобольничная. Фонари на Бабушкина, как обычно, не горели. Начинало моросить.

Какие-то тётки устроились у пролома, поставили сумки на асфальт и о чём-то увлечённо разговаривали, не замечая ни мороси, ни поднявшегося вдруг ветра, погнавшего сморщенную листву вдоль щербатого асфальта. Их дети, мальчик и девочка лет шести, играли тут же, они кидались камнями в картонную пирамидку изпод молока, плавающую в луже посреди дороги. Камушки попадали в картонку со звонким клёкотом, если же случался перелёт или недолёт, то поднимался фонтан брызг, серебрящийся в свете фонаря, горящего во дворе дома.

Дальше, на самом перекрёстке с улицей Мира, хорошо выпившие шахтёры пытались остановить таксистов и, словно дети, швырялись пусть не камнями в пакет, а пустыми бутылками в редкий проезжающий автотранспорт. Бутылки разбивались с ещё более сочным плеском. Там было шумно и празднично. День шахтёра ещё не закончился, ещё не затух между последним автобусом и подкидышем, везущим утреннюю смену на Южный.

Всё, что случилось дальше, случилось не более чем за десять секунд. Вначале со стороны улицы Мира раздались крики и улюлюканья, потом латунный звон упавшей, но не разбившейся бутылки. С перекрёстка, визжа резиной в резком завороте, вылетела большая легковая машина и понеслась в раскачку по Бабушкина, подгоняемая толпой пьяных, мечущих вослед бутылки. В ослепляющем дальнем свете фар, в десяти метрах от себя Андрей различил силуэты детей, ковыряющихся в луже на самой середине дороги. Он кинул в сторону сумку, бросился вперёд и, сгребав детей, вытолкнул их на тротуар, но в тот же миг потерял сознание от удара и страшной боли.

## 12

Когда старший Коробкин отломал жестяную кепку очередной бутылки и, полностью разлив содержимое по стаканам, поднял тост за «настоящего мужика Виктора, нормального парня, у которого есть мечта», Витька ещё и подумать не смел, чем дело закончится. Они сидели в Витькином гараже и к тому времени уже приговорили три поллитры. На печке жарилась картошка с грибами, на столе стояли миски с нарезанным крупными кусками малосольным хариусом и ломтями похожего на серую губку хлеба интинского хлебокомбината.

– А давай, Витька, мы тебе отцовскую «победу» отдадим? – сказал вдруг Коробкин-старший и посмотрел на братьев.

Те, не прекращая жевать, кивнули, выказав согласие с идеей старшего брата. Средний потянулся к портфелю за следующей бутылкой, а младший пошарил в сумке, вынул всю в солидоле банку армейской тушёнки, аккуратно отёр её газетой и поставил на стол.

– Ты, Витька, хоть и балабол, а мужик аккуратный. Вот, смотрим на твоё хозяйство, – он обвёл рукой гараж, – всё у тебя по уму, как должно быть. Правильно брат говорит, бери у нас «победу», бери даром, по цене «четвёрки». То есть своё ведро нам взамен оставишь, чтобы гараж не пустовал. Машина ездить должна, а лайба без дела у нас ржавеет.

– Ага, – осенило вдруг среднего Коробкина, – ты после хватай Наталку, грузись на платформу и айда в Крым, патиссоны окучивать. Авось и детей там навтыкаете на грядках. Здесь у вас от мошки да сырости не получится.

Братья заржали, а Витька смотрел на них растерянно, не понимая, шутят Коробкины или

взаправду предлагают обменять его жигулёнка на «победу».

«Победа!» С этой машиной не сравнится никакой желанный многими «форд», никакая фантазия тутошних бомбил – подержанный «Опель-Кадет». И даже чёрный «Джип-Чероки», который в Инту на отдельной платформе с автоматчиками из ВОХРы привёз директор молокозавода, и тот казался игрушкой рядом с идеальной стальной каплей советского шоссейного крейсера. В двухлитровый, четырёхцилиндровый движок пусть и запряжено было только пятьдесят лошадей, но те из таксёров, кто ещё застал «победы» в автопарке, уверяли, что в бензобак можно было «хоть с похмела мочиться», машина ехала.

– Вы, что ли, серьёзно? – просипел Витька.

Старший Коробкин поставил стакан на столешницу, запихал в рот большой кусок рыбы, вытянул между зубов мягкие паутинки костей, вытер руки о висевший на гвозде обрезок махрового полотенца и, поманив Витьку за собой, пошёл к выходу из бокса. Остальные Коробкины тоже отставили табуреты и похватили куртки. На улице к тому времени уже стемнело. Из окон общежития доносились звуки модного ленинградского ансамбля «Кино».

«Он не помнит слово «да» и слово «нет», он не помнит ни чинов, ни имён», – пел солист. И это отражалось от металлических дверей подстанции и сверкало в лужах.

Гараж Коробкиных находился у самого въезда. Старший снял замок, открыл дверцу и щёлкнул пакетником. Установленные под самым потолком ртутные лампы, такие, как в школах или поликлинике, замигали и загорелись, осветив холодным белым светом огромный автомобиль цвета беж, с хромированными ободами фар и такой же решёткой радиатора. Старший Коробкин сунул руку в карман висевшей на гвозде потёртой кожаной куртки, выудил ключ с брелком в виде волка из «Ну, погоди!», протянул его Витьке и кивнул на машину, мол, садись и заводи.

Витька пробрался между верстаком и кузовом автомобиля, осторожно, чтобы не стукнуть об угол, открыл дверь и протиснулся на водительское место. Большой белый руль оказался непривычно высоко. Он вставил ключ в гнездо зажигания и поискал глазами ручку переключения передач.

– Под рулём смотри, – хмыкнул старший Коробкин.

Витька нашёл, выжал сцепление, подёргал туда-сюда рычажок, понял, что у автомобиля только три скорости, повернул ключ, включил зажигание, но стартер не заработал. Витька вынул ключ, встал опять, но двигатель признаков жизни не подал.

– Аккумулятор, наверное, сел, – неуверенно сказал Витька, щёлкнул тумблером дворников, и те резво замахали, очищая лобовое стекло.

– Ёксель-моксель, это же «победа», у ей ножной стартер.

Витька заглянул под торпеду, нашёл нужную педаль и надавил на неё. Двигатель завёлся и сразу заурчал гулко и сердито.

– Не торопись, дай ему прогреться, – крикнул младший Коробкин и пошёл открывать ворота гаража.

– Ты представь себя в Крыму на «победе», – сказал средний Коробкин, приподнимая дворники и протирая тряпкой обе половинки и без того чистого ветрового стекла. – К поезду подкатай, все клиенты твои. Только выбирай. Это не автомобиль, ёксель-моксель, это мечта о счастливой жизни.

– И не жалко? – спросил Витька, так и не веря в своё счастье.

– Жалко, – ответил средний и швырнул тряпку в угол. – Если бы у нас на троих было не семь дочерей, как сейчас, а семь сыновей, то... Давай уже, выезжай.

Витька воткнул первую передачу и аккуратно надавил на акселератор, одновременно отпустив тугую педаль сцепления и опасаясь, что машина может заглохнуть. Но «победа» плавно выкатилась из гаража.

– Смотри! – заржал средний Коробкин. – Он, оказывается, водила!

– Ты поездь тут, можешь домой за заначкой смотаться, – старший Коробкин, наклонился к Витьке, который опустил стекло водительской двери, – а мы у тебя подождём, картофан пока поджарим.

– Надо отметить это дело, – поддакнул младший, – у нас всё закончилось, а завтра мы уже не пьём. Закон такой.

Витька кивнул, включил тумблером дворники, вмиг смахнувшие бисер начинавшего накрапывать дождя, сглотнул образовавшуюся во рту горечь и выехал за ворота. Круглые часы на панели приборов были не заведены и показывали не то полночь, не то полдень. Фонари на Промышленной горели через один, но Витька и так

знал на этой улице каждую колдобину. Он вообще знал в Инте все лужи, все выбоины в асфальте, даже трещины в бетонных плитах и те объезжал, стараясь, чтобы пассажиров не трясло. То на «четвёрке», а «победа» шла мягко, словно не замечая отчаянную оспенную щербатость улиц северного города. Только разогналась машина нехотя. Мощности двигателя с трудом хватало для такого тяжёлого автомобиля. Но зато как урчал мотор! Слово это был не двигатель, а горячий зверь, спрятанный под капотом, огромный, уютный.

Витька свернул на Дзержинского и поехал по площади. На углу Мира стоял милицейский экипаж. Из жёлто-синего жигулёнка выбрался мент и махнул полосатым жезлом. Витька притормозил. Это был его одноклассник. Одноклассник подошёл, узнал Витьку и заулыбался.

– Коробкинская тачка? Угнал, что ли?

– Не поверишь, поменялся, – ответил Витька.

Милиционер обошёл «победу», поцокал языком.

– Вещь! Но, парень, ты совсем оборзел. От тебя водкой воняло, когда ты ещё только с Промышленной сворачивал. Имей совесть!

– Да я только кружок – и обратно в гараж, – Витька щерился в открытую пассажирскую дверь. – Обкатка. Я же не на работе.

Одноклассник демонстративно закрыл ладню глаза и махнул рукой в перчатке с белым обшлагом.

– Ехай уже! Но смотри, аккуратнее. Таксёров по всему городу лупят. Мы только что Матвеича от расправы спасли. Вшестером били. Кричали, мол, натерпелись от коммуняк. А он вообще беспартийный. Просто рожа его примелькалась.

Матвеич был самым старым интинским таксистом, возившим ещё полковника Халеева, а потом долгие годы трудившимся на АТП. Хороший был мужик, из старой гвардии. Все его знали и уважали. Портрет Матвеича годами висел на доске передовиков производства. И уж что-то, а бить Матвеича считалось западло. Он единственный, кто всегда мог в День шахтёра работать спокойно.

Витька отсалютовал приятелю и мягко тронулся с места. Одноклассник что-то кричал. Витька притормозил, потянулся к ручке и опустил пассажирское стекло.

– Красота!

Витька сделал знак, что не понимает.

– Тачка, говорю, красивая. Повезло.

Витька махнул рукой, закрутил стекло и нажал на газ. Он проехал мимо тёмных витрин универмага и закрытых дверей гастронома и свернул на хорошо освещённую улицу Мира. Движения на улице почти не было. Впереди виднелись габаритные огни рейсового автобуса. Витька решил, что это самое место немного разогнаться и почувствовать машину на скорости. Но только стрелка спидометра дошла до отметки в сорок километров, как откуда ни возьмись посреди улицы возник какой-то дурак в расстёгнутом полупальто из искусственного меха и, растопырив руки, попытался остановить автомобиль. Витька рванул руль вправо, чтобы объехать, но тут же из-под светофора выскочили ещё двое и что-то закричали. Витька дал по тормозам и, одновременно выкрутив рулевое колесо, с визгом свернул на Бабушкина и лишь чудом вписался. После резкого поворота машина закачалась маятником, ища равновесие. Сзади что-то кричали, и где-то совсем рядом лопнула брошенная бутылка.

Витька взглянул в зеркало заднего вида, но из-за того, что позади было не привычное стекло «четвёрки», а узкая, под самой крышей, амбразура «победы», он ничего в нём не различил и перевёл взгляд вперёд. И как раз вовремя. Прямо перед ним, на дороге, метрах в двадцати копошились дети. Барабанные тормоза, не задобренные гидроусилителем, завывали, но машина продолжала двигаться.

Ещё секунду, и Господь сам заплакал бы над стигматами ран в асфальте, но из темени метнулась фигура, кто-то оттолкнул детей и принял удар на себя. Человека отбросило в сторону, а машина, наконец, замерла. Витька выскочил из-за руля и бросился к сбитому. Это был сосед – Англичанин. Англичанин лежал в какой-то невыразимо нехорошей позе, на ноге, как люди обычно не лежат. И нога казалась согнутой неправильно, а из-под волос вытекала струйка крови и пачкала воротник куртки. Подбежали, размахивая бутылками, мужики с перекрёстка, но, увидев аварию, ступевались. Вид сбитого человека и детей, которых обнимали матери, оцупывая руки и ноги, стряхнул с преследователей пыл и кураж.

Англичанин дышал, но был без сознания. Витька, обернувшись к давешним преследователям, истошно заорал, чтобы те рвали в приёмный покой за санитарями. Но пьяницы, смекнув, что дело пахнет статьёй, бросились в сторону Новобольничной.

Тогда одна из женщин, убедившись, что её ребенок невредим, только запачкан, оставила его подруге, а сама поспешила за помощью. Когда через десять минут появились двое с носилками, Андрей уже пришёл в себя. Витька придерживал ему голову, а он молча лежал и смотрел своими серыми глазами, ставшими в свете фар почти прозрачными, на то, как дети, уже потеряв интерес к происходящему, бегали в догляжки вокруг женщины. Они, пытаясь сорвать друг с друга шапочки, кричали, размахивали руками. Андрею было больно. Но он улыбался.

Дейнега, пробравшийся в палату Андрея через два дня после аварии, увидел друга в гипсе и с ногой в чудных металлических кольцах. Поза друга на больничной койке была столь торжественна, что Егор расхохотался.

– Чего ржёшь? – спросил Андрей, нахмутив брови, но не выдержал и рассмеялся сам, разглядев на друге короткие, не по росту, пижамные штаны, торчащие из-под казённого больничного халата.

Они проговорили больше часа, как вдруг в палату заглянул Витька. Вид у него был сконфуженный.

– А ну-ка иди сюда! – поманил его Дейнега. – Ты чего это, кроссинговер, людей давишь?

Витька вошёл и встал у самой двери, опустив голову.

– Небось, опять бухим ездил? Говорят, у Коробкиных «победу» по пьяному делу угнал и поехал пассажиров с воркутинского встречать, – строгим голосом допрашивал Дейнега.

– Брехня всё! – взвился Витька. – Болтают ерунду. Англичанин, эт самое, ну не верь ты ему! Обещал же, что не буду работать в День шахтёра. Вот и не работал. Мы с Коробкиными машинами поменялись. Ну и решил опробовать. Это же несчастный случай. Всё шпана с Южного виновата. И вообще, – он замылся, – хотите знать, я после того, как тебя в операционную увезли, сам пошёл и мильтонам сдался. Вот. Погоди. Сейчас.

Витька открыл дверь в коридор и кого-то позвал. Вошёл гаишник, Витькин одноклассник, в белом халате, наброшенном поверх форменного кителя. Он поздоровался, извинился за беспокойство и осведомился, будет ли «гражданин Краснов» подавать заявление. Андрей подавать заявление отказался. Милиционер пожал плечами, сказал: «На нет и суда нет», пожелал здоровья,

отвесил Витьке подзатыльник и вышел из палаты. Витька остался стоять, склонив голову и разглядывая кафельные шашечки на полу палаты.

– Я ещё просил мне дырку в правах сделать, – выдохнул он, не поднимая головы, – чтобы у меня как узелок на память была.

– И как, сделали? – спросил Дейнега.

– Не сделали, – мрачно ответил Витька. – Матом обложили.

Андрей подозвал соседа и протянул ему левую руку, правая была в гипсе.

– Нормально всё, вот теперь полный кроссинговер, – сказал он и подмигнул Дейнеге.

Андрей на друга не сердился. Невероятно, но он даже обрадовался тому, что произошло. Словно что-то замкнулось, зарифмовалось в жизни. Здесь, в палате, на больничной койке, под тонким вытертым одеялом, он с удивлением почувствовал себя счастливым. Такого полного и спокойного счастья он не испытывал раньше. Даже когда за ним закрылись ворота КПП «восемнадцатой», даже когда шёл он, получив подорожную, по насыпи узкой колеи от поселения к железнодорожной станции Харпа и даже когда родилась Варвара, счастье было в четверть силы, в треть, в половину. Словно годы на воле оставался он заключённым, а освобождён по-настоящему только сейчас. Может быть, для того нужно было вдруг подняться на мгновение над землёй в полёте, чтобы сразу и рухнуть, переломать руки и ноги, получить сотрясение мозга, ушиб всех внутренних органов, но освободиться по-настоящему.

Перед выпиской Дейнега зашёл к Андрею в палату попрощаться. Уже одетый по-городскому, в джинсах и сером джемпере, сунул в руки другу пакетик с солёным арахисом, который купил в магазине возле больницы.

– Я, Андрюха, уеду, наверное, – сказал он, рассеянно глядя в окно на качающиеся от ветра ветки ивы.

– И правильно, – согласился Андрей, – чего в Инте торчать, если работы сворачивают, сегодня и садись на поезд.

– Не, ты не понял. Я насовсем уехать решил, в Австралию.

Андрей с удивлением посмотрел на товарища.

– Помнишь конверт, что Фёдор для меня передал? Тот, что с пирожками в сумке был?

Андрей утвердительно кивнул.

– Там приглашение, анкеты мне и Лидке, документы для оформления разрешения на рабо-

ту и контракт с Государственной геологической службой Австралии.

– В эмиграции, что ли? – дошло до Андрея. – Ты же вроде не еврей.

– При чём тут это, еврей – не еврей? – вспыхнул Егор. – Сейчас всех выпускают, хоть чукчей. Стена рухнула, Англичанин! Всё! Нет стены. И страны, той, к которой привыкли, тоже нет. Ещё никто не понимает, что произошло, но произошло нечто великое. Теперь ни войн не будет, ни гонки вооружений, ни ленинской тетради, ни парткомов с месткомами. Всё. Закончилось. Было и сплыло. Теперь новая власть, народная. Теперь весь мир наш. Понимаешь? Весь мир, Англичанин! Не марксизм-ленинизм, а Фрейд и Сартр. Ты в свою Америку поедешь или куда ты там собирался, когда английский учил. Ду ю андестенд ми, миста Краснов?

Андрей промолчал. Он не любил, когда Егор начинал говорить про политику. В такие минуты друг казался ему чужим.

– Фёдор уверяет, что дерьмо великое произошло, – сказал Андрей тихо, – работы по всему Северу сворачиваются. Говорит, Урал по кусочкам дербанить начнут.

– Дурак твой Фёдор и коммунист. Он член их партии, хотя и нормальный мужик. Его же никто на западе на работу не возьмёт. Люстрация. Слышал слово? Коммунистов в Европе на работу не берут. Чаушеску вообще расстреляли. Там с большевиками не чикаются.

Андрей промолчал. Ему не нравились слова Егора, но он не умел сказать так же складно, хотя и прочёл много книг.

– Но я не про то хотел, – махнул рукой Дейнега. – Англичанин, проси Теребянко, чтобы написал тебе характеристику в университет. Поезжай и поступай на подготовительное отделение, потом на геологический. Геологи по всему миру ценятся. Налгай на английский, а как окончишь, я вас всей семьёй к себе вытащу.

– Куда, в Австралию? – переспросил Андрей.

– А то! – рассмеялся Дейнега. – На зелёный, мать его, континент. Все там и будем жить среди кенгуру и утконосов. Я к тому времени уже докторскую напишу. Ну, бывай!

Егор попрощался и ушёл. Андрей остался в палате один. Он лежал, смотрел в потолок и представлял себе кенгуру, пигмеев, Дейнегу с геологическим молотком и созвездие Южный Крест на ночном небосклоне. Только себя под этим небом представить никак не мог. Не получалось.

Пока Андрей лежал в больнице, Витька съездил на поезде в Воркуту и подал объявление на междугородний обмен. К январю появился вариант. После Нового года приехал пожилой армянин в мохнатой шубе изнутри, посмотрел Витькину двухкомнатную с досками в прихожей, с наборным паркетом в большой комнате, с чешской сантехникой и кафелем на кухне, взглянул из окна на заснеженный склон Большой Инты, по которому с визгом катились на санках мальчишки, и достал из портфеля пачку фотографий маленького домика. Сговорились.

Весь февраль Дарья с Витькиной женой пакovali вещи. Андрей тоже вызывался пособить, но всякий раз зацеплялся за углы каких-то чемоданов, отчего чудом не падал. Наконец его убедили сидеть у себя и «не соваться со своим костылём». Пока жена заворачивала у соседней посуду в газеты или шила из старых простыней мешки, Андрей играл с дочерью. Варьке исполнилось десять месяцев, и она уже пыталась ходить, держась за кровать и за стены. Иногда, встретив пассажиров котласского, приходил Витька. После аварии он был в завязке, не пил, много курил и чаще молчал, чем говорил. Андрей и без того был не из разговорчивых.

На Двадцать третье февраля из Сыктывкара заехали проститься Егор с женой и ребёнком. Привёз бутылку кубинского рома. Был возбуждён, говорлив пуще обычного. Обозвал Андрея дураком за то, что тот не хочет уехать вслед за ним. Потом играл на взятой у Витьки гитаре, пел песни. Ром выпил сам, захмелел и наконец уснул на постели Андрея и Дарьи, не сняв одежду, раскинув в стороны руки. Сёстры проговорили и проплакали всю ночь. Им казалось, что разлучаются они навсегда. Наверное, так и было. Наутро Витька отвёз Андрея и Дейнегу с семьёй к московскому поезду и помог сесть в вагон.

– Давай, не поминай лихом, – Егор протянул руку, потом порывисто обнял друга и прыгнул на площадку.

Поезд начинал движение.

Платформа и контейнер в Крым были заказаны на начало марта. Мебель Витька возил на контейнерную площадку на багажнике «победы». Грузить и разгружать помогали Коробкины. Наконец, последние вещи были упакованы, машина стояла на платформе, укрытая палаточной тканью и притянутая к бортам стальными тросами. В квартире оставались только два дорожных

чемодана. Только после этого Витька взял билеты на самолёт до Москвы.

Приехала Витькина мать, до того не появлявшаяся и демонстративно удалившаяся от хлопот сына. Привезла Витьке денег. Витька отказывался, кричал, что способен самостоятельно заработать и на себя, и на свою семью, но в конце концов сдался, принял заклеенный почтовый конвертик и поцеловал старую женщину в макушку. Та расплакалась. Долго обнимала до того сиротливо незамечаемую Наталку и совсем побалушкину охала. Когда Витька отвёз мать и вернулся, веки его были припухшими.

В последний вечер перед отлётом, как и три предыдущих, Витька с Наталкой ночевали на тахте у Андрея. Накануне состав с платформой и контейнером отправился из Инты в Котлас на сортировочную. Наталка, переволновавшись и устав, уснула быстро, а Витька пил чай стакан за стаканом и то и дело ходил курить в свою уже «бывшую» квартиру.

– Вот что я не понимаю, – сказал Витька Андрею, когда тот утром вышел на кухню. – Через пару недель в Крыму уже зацветёт миндаль. А в Инте снег сойдёт только к июню. И зачем я столько лет тут проторчал? Не понимаю. И ещё, – Витька заулыбался, – Крым теперь называется – это другая страна, у них даже деньги свои. И я получаюсь, как твой Егор, эмигрант. Такие дела, Англичанин.

### 13

По расписанию дополнительный пассажирский на Вильнюс прибывал в Струги Красные в несусветную рань. Андрей так и не заснул от самого Варшавского вокзала, хотя, послушавшись проводницу, купил комплект постельного белья и застелил нижнюю полку. Соседи, трое рабочих-белорусов, споро и без лишней болтовни поужинали водкой под вокзальные жареные пирожки с яйцом и храпели уже от Гатчины. Андрей взял костыль и вышел в тамбур. Привыкший за пять лет к полярному дню, он уныло смотрел в окно на бледную ленинградскую летнюю ночь, прыскающую в стёкла вагона слепой рассветной моросью.

От Луги распогодилось. И когда Андрей поддался секундному порыву и, не доезжая одной остановки до Струг, спустился на узкую платформу в Плюссе, солнце уже жадно паялилось на свои отражения в стёклах второго этажа ближайших к железке домов. Расписание за эти годы изменилось. Автобус на Струги уходил только че-

рез час, Андрей купил билет, побродил, хромая, вдоль платформы, посмотрел на этикетки импортных бутылок в витрине ларька на останковке, постоял перед серым одноэтажным зданием вокзала и зашёл внутрь. От зала ожидания осталось только два ряда кресел, остальное пространство теперь занимал видеосалон. Из-за стеклянной перегородки доносился мультипликационный шум. Андрей положил сто рублей в картонную коробку на столике, за которым, откинув назад голову, спал молодой парень, и прошёл внутрь. В темноте видеосалона в ожидании поезда на Ленинград дремали несколько человек. Они сняли обувь и устроились поперёк кресел. На экране телевизора шёл иностранный мультфильм. Весёлые утята под предводительством злого селезня искали сокровища. Персонажи то и дело с хохотом выбирались из безвыходных ситуаций. Было несмешно и душно. В зале отчаянно пахло несвежими носками и виргинским табаком. В задних рядах кто-то курил смолистые американские сигареты. Андрея тоже начинал смаривать сон, и он, опасаясь, что пропустит автобус, с трудом вытерпел полчаса и выбрался на свежий воздух.

Старый оранжевый пазик, точно такой, как Андрей помнил всё своё детство, а может быть, даже тот самый, уже стоял под посадкой с раскрытой гармошкой передней двери. Андрей поднялся по ступенькам, показал билет равнодушному водителю, переступил через стоящие в проходе ящики и прошёл назад между рядами сидений. Кроме Андрея, в автобусе сидели только две женщины под пятьдесят, похожие, словно сестры от разных отцов, с высокими причёсками и яркими тенями вокруг глаз. В открытые окна доносились железнодорожные голоса. Слов, как обычно, было не разобрать. В автобус заглянула диспетчерша, шариковой ручкой пересчитала пассажиров по головам, что-то отметила у себя в карточке и ушла к себе в будку. Автобус завёлся, водитель закрыл двери и с хрустом воткнул первую передачу.

В Симоново тётки с тенями вокруг глаз вышли и направились к магазину. Водитель помог им донести до дверей ящики, сунул в карман какие-то деньги и вернулся в автобус.

– До Пятчино? – спросил он, обернувшись в салон.

– На Хмеру останови, – кивнул Андрей.

Водитель откашлялся, закрыл двери, и автобус затрясло по плохой дороге. От вибрации не-



много заняла нога. Врач, который снимал инопланетную конструкцию аппарата Илизарова, сказал, что будет болеть ещё год или около того, и дал памятку с рисунками упражнений, которые нужно было делать ежедневно. Всю зиму Андрей изводил себя лечебной физкультурой, поставив вместо матов на пол матрасы в пустой квартире соседа. К весне он уже только чуть-чуть прихрамывал, но врач пока запрещал ходить без костыля.

Автобус остановился напротив погоста, там, где в зарослях крапивы угадывались контуры фундамента церкви Покрова Пресвятой Богородицы, разрушенной и сожжённой немцами в сорок третьем. Старые, замшелые валуны, служившие некогда оградой кладбища, поросли лещиной и березняком. Где-то за этими зарослями в тени и путанице сирени, ореха и тёрна стоял чугунный крест над могилой прапрадеда Андрея. Его показывала Андрею бабушка Маша. Рядом с крестом в безымянных могилах сплошь лежали останки Андреевых предков, память о которых сгорела вместе с церковной книгой деревянной Ризоположенской церкви. Книги сгорели, скулы, высокие лбы и русые головы нет-нет да и появлялись в деревне от поколения к поколению.

Андрей обогнул кладбище и зашёл с ближней к деревне стороны. Прошёл мимо нескольких огороженных участков соседей к синей, свежепокрашенной на Троицу оградке с родными могилами. Зашёл внутрь, постоял у каждой, вглядываясь в лица на эмалевых овалах, вновь читая имена и даты рождения и смерти. Посидел на скамейке напротив самой свежей могилы – бабушки Маши, мамы отца. Бабушку хоронили, когда он служил. Его на похороны не отпустили – считается, не близкий родственник. А кто тогда близкий?

Напротив, на участке Симагиных, новое надгробие бабушки Шуры, той, что спасла отца. Мать писала в письме, что она умерла прошлым летом. Андрею показалось странным, что женщины даже не дружили, а просто соседствовали. Вот и теперь соседствуют.

Вздыхнул, прикрыл калитку, замер на несколько секунд, собрался с духом и, наконец, уверенно пошагал, чуть прихрамывая, тропинкой к тому месту, где виднелась небольшая пирамидка со звездой. Там он повернул направо и через несколько шагов оказался перед аккуратным участком Слепнёвых, посыпанным белой мраморной крошкой.

Могила Алёнки оказалась с самого краю. Возле низкого обелиска из чёрного габбро лежали свежие, срезанные накануне цветы. Андрей встал напротив, опёрся обеими руками на костыль и замер, склонив голову. В зарослях орешника гомонили воробьи. Ветер доносил запах палёной травы. По шоссе с воем и железным грохотом ехал пустой самосвал. Кто-то смотрел на Андрея. Он поднял голову и увидел Слепнёву, стоящую чуть поодаль, на тропинке, с пластиковой бутылью, полной воды, в руках.

– Здравствуй, Андрей.

Он поздоровался в ответ.

– Рассказывают, детей на Севере спас. Правда? – Слепнёва зашла за оградку, подняла букет и поставила в воду.

Андрей кивнул.

– Рассказывают, чудом не погиб, – женщина взглянула на костыль, на который Андрей до того опирался, а теперь стыдливо прятал за спину.

Андрей пожал плечами и отвёл взгляд.

– Ты не стесняйся. Хорошего не надо стесняться. Молодец, если правда всё. И что к дочери моей на могилку пришёл, тоже правильно. Значит, совестливый человек.

Андрей молчал.

– Я каждую субботу прихожу. Хотела бы чаще, да сил потом нет работать. Лежу на кровати, в одну точку смотрю. Есть у меня на коврик с оленями такая точка, где грибы у леса и не то зверушка какая, не то просто нитка неудачно прошла. Вот туда и смотрю. Не утихнет, Андрей, ничего, сколько бы лет ни прошло.

Хотел Андрей что-то сказать, но не мог. Как утешить?

– А на тебя зла не держу. Раньше думала, что убью, потом успокоилась. А как узнала, что не ты за рулём был, так и вовсе простила и даже пожалела, что из-за Людки, дуры такой, столько греха на себя взял. Симагина год назад разболтала на всю деревню, кто во всём виноват. Они с Людкой ругаются, дом тётки Шуры делят. Хотя и Людку простила. Что с неё, с шалапутной, взять. Её и так Бог наказал, детей ни от одного мужика не даёт.

Андрей в волнении достал было из кармана сигареты, но постеснялся закурить и спрятал обратно.

– Что же ты отцу своему и матери правду не сказал? Нехорошо так. Скажи. Они поди теперь и сами знают, но ты скажи. Им тоже полегче будет. От правды всем легче.

Андрей поднял голову и встретился взглядом со Слепнёвой. И не было в том взгляде уже ничего, кроме усталости. Он неловко попрощался и поспешил к выходу с кладбища.

## 14

Дом стоял на центральном перекрёстке деревни, наискосок от магазина, напротив старого тополя, на верхушке которого каждый год оживало новой семьёй гнездо аиста. В этот год отец методично пилил старые яблони, что росли вокруг дома и вдоль забора. После какого-то особо сильного заморозка они вдруг овяли, засохли и перестали плодоносить. Если и появлялись теперь плоды, то лишь на паре веток как напоминание о былых урожаях, когда по осени всю землю вплоть до забора пятнали розовощекие, пахнущие мёдом восковые яблоки. Вначале дерева ещё пытались пробиться к солнцу почкой, но этой весной остались в своём буром в прорехах исподнем. Они замерли, словно застигнутые какой-то страшной небесной карой, раскинув руки-ветки, подобно солдатам в самоволке, до того пьяно плясавшим нагишом поперёк устава в чужом огороде, на виду у противника.

Отец завёл бензопилу и грыз пахнущие мёдом красноватые комли, разбрызгивая вокруг яркое конфетти опилок. Звук старой отцовской «Дружбы» Андрей признал издавелека. Среди десятка движков он с уверенностью различил бы этот, с заметным не то лязганьем, не то полаиванием. Ещё школьником, примостив пилу в коляску «Урала», ездил Андрей валить сушины по лесной дороге к бывшим хуторам, что, если напрямик через лес, были на полпути от дома до хмерского погоста. Дорога та давно заросла и частями ушла в болото, но мотоцикл проходил. Андрей помнил тяжесть инструмента, злой его деловой озноб, масляный пот на коже. Отец учил выбирать дерево, определять наклон, готовить место под падение, показывал, как надо делать подпил, как валить. Но что бы та наука, если бы не опыт. Как ни предупреждал отец, но однажды пилу зажало. И Андрей больше часа, стараясь не повредить цепь и шину, мучил топором звонкую, давно обронившую ненужную кору ель. Справился, сдюжил, чуть не пропал сам под рухнувшим тонным стволом, но пилу спас.

Теперь он прошагал, чуть прихрамывая, от перекрёстка, в светлом итальянском плаще поверх серого джемпера, перепрыгнул, упираясь

на костыль, с островка на островок по архипелагу тверди, торчащей посереде даже в июльскую жару не подсыхающей деревянной лужи. Тут и расслышал лай старушки «Дружбы» и остановился на обочине в прозрачной ещё весенней тени дичка сливы, стал рыться по карманам в поисках сигарет. В переносице свербила слеза, и он морщился, выдыхал шумно, тёр нос, но всё равно веки намокли, и он устыдился того перед ветром и пыльными придорожными кустами. И хорошо, что был он на дороге совершенно один, что никто вместе с ним не вылез из разбитого пазика у Хмёра, не доезжая таблички «Плюсненский район», хорошо, что никто не шёл навстречу, никто не маячил у забора бывшей фермы. Он снял сумку с плеча, поставил на валун, закурил и долго смотрел на солнце, чтобы другие слёзы, те, что от нетерпимого сияния звезды, вымыли из глаз соль и горечь возвращения, узнавания и покаяния всякого уехавшего и позабывшего.

Андрей не звонил, о приезде не предупреждал. Решил, пусть будет родителям сюрприз, чтобы не дать им извести себя ожиданием, сутками колготящимися от одной клеточки календаря на стене в кухне до другой. Пусть лучше так, сразу, как снег на голову. Как бы ни были заняты деревенские работой, а нет-нет да и посматривают на дорогу, словно какого знака ждут: путника, гонца ли, бродягу. По тому, как замолкла вдруг пилы, с холостого хода провалившись в яму тишины, Андрей понял, что его заметили. К старости отец сохранил остроту зрения, на спор соревновался с мальчишками, считая фарфоровые изоляторы на крыльях далёкой вышки линии электропередачи, по походке за пару вёрст узнавал соседей. А собственного сына, хоть и хромал тот теперь изрядно, конечно, узнал. Андрей непроизвольно ускорил шаг, когда увидел мать, выбежавшую с крыльца и устремившуюся к калитке. Отец, отирая руки о тряпку, поспешил за ней. И теперь Андрей не удержался, подобрал костыль и, не замечая боль в ноге, бросился навстречу родным. Он подхватил маму у тополя на перекрёстке, уже не бегущую, а летящую к сыну отчаянной птицей, лёгкую, почти невесомую, и закружил, уткнувшись головой ей в волосы. И вдыхал мамин запах, запах корвалолола и сдобы, дыма и нежности. И вот уже отец колет его субботней утренней щетиной и хлопает по плечам. И аист в гнезде у дома вытягивает шею и трещит клювом, разбивая апрельское небо в мелкое крошево калёного стекла.